

Николай Чуковский

Девять братьев (сборник)

- Бомба никогда не падает два раза в одно и то же место, - сказал Павлик и вошел в парадное разрушенного дома.

Сирены еще выли в дальних кварталах, но радио на углу уже смолкло, наполняя утренний сияющий воздух громким тиканьем. Дом был весь сквозной, и через огромные прорехи в его стенах виднелось бледное декабрьское небо. Наружная стена еще держалась, но внутри зияла пустота. Павлик, войдя сюда, почувствовал себя на дне глубокого колодца и на мгновение остановился. Высоко над собой он увидел широкий пролом в крыше. Остатки этажей располагались вокруг, будто ярусы в театре. На этих ярусах, как на полках, были расставлены шкафы, стулья, кровати, печки. Вещи казались снизу маленькими, словно кукольными. На уцелевших простенках, оклеенных разноцветными обоями, висели картины. Ветер шевелил занавески на выбитых окнах. Все эти привычные, обжитые вещи, казалось, были только что покинуты своими хозяевами, хотя кое-где по углам уже лежали кучки сухого, колючего снега.

Кругом не было никого, а между тем Павлик заметил, что человек в коричневом пальто и сером картузе свернул с панели именно в это парадное. Но куда он мог деться? Прямо перед Павликом начиналась лестница, чудом уцелевшая и повисшая в воздухе. Нижние ее пролеты были ярко озарены косыми лучами только что вставшего солнца, а верхние терялись в сумраке, и снизу нельзя было различить - соединяется ли лестница там, наверху, с каким-нибудь из разрушенных этажей, или нет. Павлик, подумав, перелез через несколько осыпавшихся груд кирпичей, добрался до лестницы и зашагал по ступенькам вверх.

В это время уже близко начали бить зенитки. Немецкие самолеты шли, видимо, к центру города. Это был второй налет за утро.

Павлик продолжал подниматься. Некоторые ступени лестницы вывалились, образовав щели, сквозь которые виднелась пустота. Павлик с трудом перебирался через эти щели, цеплялся руками за обломки перил, становясь коленом на следующую уцелевшую ступеньку. Он прошел уже три или четыре марша, когда совсем рядом заговорила зенитная батарея. Ее громкий лай казался в пустом доме особенно гулким. Лестница при каждом выстреле содрогалась. Павлик явственно услышал гул мотора, посмотрел вверх, в пролет крыши, но самолета не заметил, а увидел только разрывы зенитных снарядов, светлые, озаренные снизу солнцем.

По мере того как Павлик подымался вверх, перед ним открывались все новые и новые ярусы квартир. В некоторые из них нетрудно было перебраться с лестницы, и он старался отгадать, куда мог пойти человек в коричневом пальто, за которым он следил. Вдруг ему пришло в голову, что человек этот мог и вовсе не подниматься по лестнице, а просто пересечь разрушенное здание вниз и выйти через какое-нибудь отверстие во двор.

Стоя на площадке, Павлик пытался через пролом в стене разглядеть, что делается на дворе. Сквозь переплетение порванных проводов он едва успел заметить только громадные кучи щебня, доходившие до третьего этажа, как пронзительно засвистела бомба и раздался взрыв.

Павлика опрокинуло навзничь, и он разбил ладони о каменные плиты лестничной площадки. Площадка вместе со всей лестницей и кирпичной стеной, к которой она примыкала, подалась сначала вперед, потом вниз. Павлик продолжал держаться на площадке, пока она не стала на ребро и не уперлась во что-то. Тогда его скинуло с площадки, перевернуло, и он оказался на куче щебня и мелкой битой штукатурки. Он сделал попытку задержаться здесь, но щебень осыпался, шевелился под ним, как живой, и Павлик катился все ниже и ниже. Потом он сорвался, полетел в пустоту, в темноту и стукнулся обо что-то твердое.

Он очнулся, но не сразу открыл глаза. Болела голова. Падая, Павлик расшиб затылок. Его спасла ватная шапка, завязанная под подбородком тесемками.

Павлик открыл глаза. Лежал он на спине, в темноте. Впрочем, прямо над ним была узкая щелка, сквозь которую виднелось небо. Свет из щелки падал ему на лицо. Он полежал немного, потом сел. В голове было мутно, его слегка тошнило. Павлик посидел, пока прошла тошнота, затем встал, поднял руку и без труда дотянулся до щелки.

Тут, видимо, было отверстие, сквозь которое он и свалился в подвал. Но отверстие это перегородила широкая каменная плита. Он был бы засыпан и убит кирпичами и известкой, если бы эта плита не легла поперек отверстия.

Павлик уперся в плиту руками, но она не шевельнулась.

- Нет, здесь выйти нельзя, - услышал он сзади и обернулся.

При слабом свете, падавшем через щелку, Павлик разглядел что-то белое. Это была девочка, с головы до ног закутанная в большой белый шерстяной платок. Лицо ее было почти все скрыто платком, только два глаза блестели.

- А где можно? - спросил Павлик.

- Нигде нельзя, - ответила она сквозь платок. - Раньше и этой щели не было.

- А ты давно здесь?

Она подумала.

- Со вчерашнего дня... Не знаю...

- Одна?

- Одна. Теперь будем вдвоем. Ты сильно ушибся?

- Ты здесь и спала? - спросил Павлик, не отвечая на ее вопрос.

- Нет, я спала там, - сказала она и, выпростав из-под платка руку, махнула куда-то в сторону, в темноту. - Там много места. Бомбоубежище. Там было тепло. Там и теперь еще тепло.

- Как же ты...

- А ничего. Хорошо. Тут хорошо. Хочешь изюму? - Она пошарила у себя под платком, быстро протянула руку и насыпала Павлику в ладонь изюму - липкого и теплого. - Тут этого много. Сколько хочешь. И сухари есть. Сколько хочешь. Я тебе покажу.

Они ели изюм и смотрели друг на друга.

- Как тебя зовут? - спросил Павлик.

- Эрна.

- Ты не русская?

- Нет, русская.

- Ты в эту дырку влезла? - он показал наверх.

- Нет, этой дырки не было. Дырка только сейчас сделалась, когда упала вторая бомба. Ты свалился в дырку, и ее снова засыпало.

- А как же ты сюда пришла?

- Через дверь.

- Вчера?

- Вчера.

- А где же эта дверь?

- Ее больше нет. Ее засыпала первая бомба.

- Какая первая?

- А которая вчера упала.

- Глупости! - сказал Павлик. - Вчера немец не бомбил. Вчера шел снег, и день был нелетный.

- Вчера, - упрямо повторила девочка.

- Нет, не вчера, а в четверг бомба упала, - сказал он. - А вчера была суббота. Так ты здесь с четверга?

- Может быть...

Он молча смотрел на нее, глотая изюминку за изюминкой. Наконец спросил:

- Здесь было совсем темно?

- Совсем темно, - сказала она спокойно. - До первой бомбы здесь было электричество. Потом горел фонарь «летучая мышь». Он стоял в углу. Потом весь керосин выгорел, и стало темно. А когда вторая бомба упала, появился свет. Я пришла сюда и видела, как ты свалился.

Павлик съел весь изюм и вытер одну липкую ладошку о другую.

- А я привыкла и без света, - продолжала девочка. - Что я здесь нашла! Хочешь, покажу?

Павлик пошел за ней в сторону, во мрак. Сначала он кое-как различал белое пятно ее платка, но когда они удалились от щели, исчезло и это пятно. Павлик только слышал впереди ее голос.

- Сюда, сюда! Не наткнись. Тут нары. Видишь, как хорошо тут устроено - матрацы, одеяла. Правей, правей! Вот тут дверь в следующее отделение. Там я живу. Куда же ты? Сюда иди!

Павлик шел за нею ощупью, вытянув вперед руки, спотыкаясь. Наконец он пальцами коснулся ее платка. Тогда девочка со скрипом отворила тяжелую металлическую дверь.

- Здесь теплее, правда? - спросила она.

Действительно, Павлику в лицо дохнуло влажным теплом. Он сделал два шага вперед. Девочка закрыла за ним тяжелую дверь, и они снова пошли...

- Вот здесь стол, обойди его. Там есть шахматы, но в них сейчас играть нельзя, потому что темно. Здесь тоже нары. Вот тут я и сплю.

Видимо, она влезла на нары, потому что голос ее звучал откуда-то сверху.

- Ты тоже найдешь себе хорошее место. Тут мест сколько хочешь. А по стенам - паровое отопление, но оно больше не действует. До первой бомбы здесь было совсем тепло, даже жарко, и я очень хорошо жила.

- Ты до первой бомбы здесь жила? - удивленно спросил Павлик.
- Да.
- Пряталась во время воздушных тревог?
- Нет, жила. Три дня жила. Здесь было хорошо, и никто не мог меня найти.
- А разве тебя искали?
- Искали.
- Почему?
- Я убежала из дому.
- От мамы?
- Нет, не от мамы. Мама моя умерла. В октябрьские праздники еще умерла. Мы с ней в августе уехали из Эстонии и два раза купались.
- Купались?
- Ну да, купались. Мы плыли по морю караваном, и немцы нас бомбили. Одна бомба попала, и наш транспорт загорелся. Тогда мы первый раз купались. На нас были спасательные пояса, мы плавали, а «Мессершмитты» в нас стреляли. Потом нас вытащили и посадили на второй транспорт. Но ночью его тоже разбомбили, и мы опять купались. Нас еще раз вытащили, посадили на третий транспорт и привезли в Кронштадт. Я - ничего, а мама заболела и умерла. В госпитале она умерла...
- От кого же ты убежала?
- От дяди.
- Он обижал тебя?
- Нет, не обижал.
- А почему же ты убежала?
- Не знаю...
- Не знаешь? Нет, ты, верно, знаешь.
- Ну, знаю...
- Отчего?
- Она, помолчав, сказала:
- Мне кажется, он немец.
- Павлик задумался.
- А как зовут его? - спросил он деловито.
- Василий Степанович.
- Глупости! - сказал Павлик. - Немцы Васильями Степанычами не бывают. Васильями Степанычами бывают только русские.

Этот разговор ей, видимо, не понравился, она соскочила с нар и снова пошла вперед.

- Здесь был коридор, но его доверху засыпало, - услышал Павлик ее голос. - Чувствуешь, земля? Иди сюда, - закричала она уже с другого места, - я тебе покажу, что я тут нашла! Здесь дверь, она заперта, ее никак нельзя открыть. Но рядом... Сюда, сюда, я тут, дай руку! Видишь, камни в стене раздвинулись? Тут можно пролезть, если боком. Осторожно только, голову наклони. Вот мы с тобой в маленькой комнатке. Здесь я нашла изюм и сухари. Три мешка сухарей и ящик с изюмом. Кушай сухари с изюмом, это очень вкусно...

Павлик взял сухарь, пригоршню изюма и стал есть. Девочка тоже ела, и они молчали. Тишину нарушал только громкий хруст сухарей. У Павлика все еще болела голова, его немного тошнило, он был очень голоден. Ел он долго, с наслаждением, сосредоточенно.

- Чьи это запасы? - спросил Павлик, жуя.

- Не знаю. Это странная комната. Тут есть телефон.

- Телефон?

- Да.

- А ты не звонила?

- Куда?

- Да куда-нибудь. Чтобы тебя откопали.

- Нет, он испорчен. Звонить нельзя. Можно только слушать. Я слушаю.

- Что же ты слышала?

- Да так... Чепуху всякую. Разговоры.

Она сняла трубку и протянула ее Павлику. Сначала Павлик услышал далекий гул, потом стал различать слова.

- Ястреб! Ястреб! Ястреб! - кричали в трубке. - Говорит Луна! Луна! Луна! Ястреб слушает. Лейтенант Тарараксин слушает. Лейтенант Тарараксин... Тарарарараксин...

Павлик отдал трубку Эрне, и она повесила ее на рычаг.

- Эрна нерусское имя, - сказал Павлик, продолжая жевать. Он ел уже четвертый сухарь.

- Эстонское имя, - ответила Эрна.

- А ты разве эстонка?

- Я русская. У меня мама русская, а папа эстонец.

- А где же твой папа?

- В Эстонии. Он там остался. Он партизан.

Она сказала это недовольным голосом. Расспросы Павлика явно сердили ее.

- А ты кто? - спросила она вдруг.

- Я? - удивился Павлик. - Как «кто»?

- Ну, что ты делаешь? - спросила она.

- Я? Воюю.

- Воюешь?

- Ловлю ракетчиков, - объяснил он, понизив голос.

Эрна почтительно умолкла. Потом спросила:

- А у тебя мама есть?

- Нет. Есть сестра Люся.

- Большая?

- Большая. Ей уже восемнадцать лет. То есть она не большая, а очень маленькая. Мне тринадцать, а я уже выше ее.

- Мне тоже тринадцать, а я ничуть не ниже тебя, - сказала Эрна. - Ты с ней вместе живешь?

- Раньше вместе жили...

- А теперь?

- Теперь она потерялась. Поехала рыть окопы и потерялась.

Они опять замолчали. У Павлика все сильнее болела голова.

- Здесь очень темно, - тоскливо сказал он.

- Ничего, я привыкла. Ты тоже привыкнешь. У меня двоюродный брат летчик. Его зовут Леша. Я уже давно его не видела. Как мы уехали в Эстонию во время финской войны, так с тех пор и не видела. Он сейчас, верно, знаменитый летчик. Только я не знаю, где он. Когда мама лежала в госпитале, она хотела, чтобы Леша взял меня к себе, а не дядя. Мама даже писала Леше письмо, но оно, наверное, не дошло... А где ты теперь живешь? - спросила она внезапно.

- В детском доме. Только я там не живу. Я там ночую и ем. Там совсем мало стали хлеба давать.

- А суп дают?

- Суп - одна вода, - сказал Павлик.

- Так ешь. Ешь сухари. Отчего ты не ешь?

- Я больше не хочу. Я пить хочу. Пойдем отсюда. Здесь совсем темно.

Его тошнило от приторного изюма - он съел очень много. Его тошнило, ему было скверно. Темнота угнетала его.

- Пойдем отсюда, - повторял он.

Она вывела его из комнатки с телефоном, подвела к крану и дала напиться. Затем она опять влезла на нары и предложила ему выбрать себе место для спанья. Но он раздраженно отказался. Его сердило, что она считала, что «здесь хорошо». Ему здесь было скверно. Он с отвращением вдыхал в себя влажный воздух подземелья. В комнате с нарами было тоже темно, а темнота угнетала его. Он сам нащупал дверь и вышел в комнату, где была щелка на двор.

Теперь ему показалось, что здесь совсем светло. Он остановился под самой щелью, дыша сухим, морозным воздухом. Еще раз надавил на плиту, закрывавшую отверстие, и еще раз убедился, что она совсем не поддается.

Сквозь щелку было видно ясное небо. Внезапно в небе он заметил самолет. Истребитель. Самолет был так высоко, что прошло несколько долгих секунд, прежде чем он добрался от одного края щелки до другого. «Ишак», – подумал Павлик. Он умел отличать типы самолетов на любой высоте. Внезапно он с завистью представил себе, как свободен в просторном небе летчик на том самолете.

А летчика, самолет которого Павлик видел сквозь щель из подвала, звали Илья Рябушкин. Ему было девятнадцать лет. Он месяц тому назад окончил сокращенный курс летной школы в одном городке на Азовском море, получил звание старшего сержанта и прибыл в авиацию Балтийского флота на пополнение в эскадрилью капитана Рассохина.

Небо было ясное, но эта ясность была обманчива. Над большими полыньями в Финском заливе и Ладожском озере клубился густой пар и легкой дымкой, пронизанной солнцем, заполнял весь воздух. В этом золотом солнечном тумане на расстоянии трех-четырёх километров все сливалось, ничего не было видно.

Но полет в холодном сияющем воздухе доставлял Рябушкину наслаждение. Ему казалось, что его машина сегодня как-то особенно ему послушна, и он с удовольствием закладывал крутые виражи, заставляя подниматься к небу то один край лежавшего под ним города, то другой.

Эскадрилья капитана Рассохина стояла на лесном аэродроме возле маленькой деревушки и защищала этот город. Рябушкин никогда в нем не бывал, но уже несколько раз видел его сверху. Огромный город. Улицы тянутся из конца в конец, как стрелы, как лучи солнца. Шпили, соборы и башни бросают яркие синие тени на покрытые снегом широкие крыши домов. Город лежит на островах между многих величаво изогнутых рек, через которые перекинута тоненькие струнки мостов. А за островами – равнина замерзшего моря, золотистая, белая и голубая. Когда Рябушкин, отодвинув до предела ручку штурвала, с высоты трех тысяч метров пикировал почти вертикально на город, Нева казалась ему стеблем огромной розы с нежными многоцветными лепестками; когда, задышающийся, он выводил над крышами свой самолет из пике, на мгновение видел он толпы людей, и чувство какой-то особенной близости к этому городу наполняло его.

Рябушкин любил летать. Ощущение счастья и свободы никогда не покидало его в полете. Но сегодня к этому обычному чувству примешивались тревога, недовольство собой. Сегодня у него нескладно получилось: взлетев, он очень скоро растерял своих товарищей.

Они звеном дежурили на аэродроме: Костин, Карякин и Рябушкин. Костин был командиром звена. Когда взвилась лиловая ракета, у Рябушкина не сразу запустился мотор. Он взлетел на целых полторы минуты позже товарищей и заставил их ждать себя в воздухе, затем быстро пристроился к ним и пошел вместе, но чувствовал себя виноватым. А от этого все и случилось.

Они шли к городу и уже видели впереди разрывы зенитных снарядов. Вдруг Рябушкин заметил справа и значительно выше себя два «Мессершмитта». Они проходили довольно далеко, и их длинные узкие тела были едва различимы в тумане. Рябушкин был убежден, что Костин сейчас развернется и поведет их в атаку. Ведь Костин всегда любил повторять: «Я не жду, когда на меня нападут, я сам нападаю первый». И вот, желая искупить свою вину, показать удачу, Рябушкин сразу свернул и помчался наперерез «Мессершмиттам».

Он усердно набирал высоту, карабкался вверх, напрягая мотор до предела. Но очертания «Мессершмиттов» становились все более неясными, расплывчатыми и скоро исчезли совсем. Рябушкин взобрался еще выше, свернул вправо, свернул влево – пропали «Мессершмитты»! Они как бы растаяли в золотой дымке. Мало того: он понял, что потерял своих товарищей.

Рябушкин совершил тяжкий проступок: Костин не отдавал ему приказаний атаковать «Мессершмитты», он пошел в атаку самовольно, оставил своего командира. Теперь выход один – найти Костина и Карякина во что бы то ни стало.

«Куда они могли деваться? – думал Рябушкин. – Ясно, что Костин, не обращая внимания на «Мессершмитты», продолжал путь туда, где били зенитки».

Рябушкин лег на прежний курс и понесся к городу. Зенитки больше не стреляли. Медленно таяли в небе дымки разрывов.

Рябушкин виражил, просматривая воздух, он пересек весь город с юго-востока на северо-запад, дошел почти до Лахты, но ни одного самолета – ни своего, ни вражеского – не встретил. Тогда он свернул на восток и пошел над Выборгской стороной до Охты, там снова перелетел через Неву и лег курсом на юго-запад. На юго-западной окраине города что-то горело. Черный дым пожара лениво расплзался во влажном воздухе, и туман там был не золотой, а грязный. Чтобы не заходить в туман, Рябушкин свернул прямо на запад и над Торговым портом вышел к морю.

Чуть только равнина замерзшего моря протянулась под ним, как справа, на северо-западе, он заметил самолет и сразу угадал, что это за машина. Даже не по силуэту, который был едва различим в тумане, а вернее, по походке или бог его знает по какой примете он не разглядел, а угадал чутьем: это был «Юнкерс-88». Рябушкин сразу развернулся и пошел на сближение.

«Юнкерс» стремительно выростал перед ним, выплывая из тумана. Немецкий самолет шел на северо-запад, к Финляндии, собираясь пройти между Кронштадтом и Лисьим Носом. Рябушкин мчался к «Юнкерсу» с юга. За спиной ослепительно сверкало морозное солнце, и в лучах его самолет Рябушкина был невидим. «Юнкерс» шел несколько ниже, и Рябушкин мчался, снижаясь и набирая скорость. В стеклышке прицела вражеская машина занимала все больше и больше места. «Только бы немец не заметил, только бы не переменял курс, только бы удалось атаковать его сбоку!» Рябушкин, держа пальцы на гашетке, не выпускал «Юнкерс» из прицела. Вот уже отчетливо видны кресты на фюзеляже, вот уже расстояние не больше пятисот метров. «Юнкерс» продолжает идти, не сворачивая. «Только бы удержаться, только бы не дать очередь раньше времени!» Но вот немец начал тяжело и поспешно сворачивать вправо. «Пора!» Рябушкин успел. Он полоснул «Юнкерс» очередью сбоку, с дистанции в двести метров. Бомбардировщик стал крениться на левую плоскость. Из левого его мотора вырвался черный дым.

Но «Юнкерс» мог идти и на одном моторе. Он выровнялся, довершил поворот, и Рябушкин оказался у него в хвосте. Теперь он видел перед собой сноп огненных брызг, бледных при солнечном свете, но все же хорошо различимых. Верхний стрелок на «Юнкерсе» бил прямо по Рябушкину трассирующими пулями, и Рябушкин круто сворачивал, чтобы вывернуться из-под пулеметной струи. Сворачивая, он отставал, потом опять догонял вражеский бомбардировщик, опять попадал под пулеметную струю, сворачивал и отставал.

Две неясные тени самолетов стремительно скользили по льду, ныряли в дымящиеся полыньи и опять продолжали свой бег. Вот уже справа от них (а сейчас будет позади) черный, лесистый, резко очерченный выступ Лисьего Носа. «Юнкерс» шел напрямик к финнам. До финского берега было близко, и Рябушкин понимал, что действовать нужно, не теряя ни одного мгновения.

Он отвернул и пошел на «Юнкерс» справа сзади со стороны солнца. Солнце снова стало его союзником. Ослепленный немецкий стрелок бил наугад. Рябушкин шел прямо и стрелял. Вражеский пулемет внезапно умолк. Рябушкин убил верхнего стрелка.

Но «Юнкерс» продолжал идти, дымя левым мотором. Лисий Нос остался уже позади, справа тянулась широкая дуга берега у Сестрорецка. Впереди, сквозь пронизанную солнцем дымку, уже можно было различить голубую, словно плывущую в небе полосу берега, занятого финнами. Там «Юнкерс» может сесть. В распоряжении Рябушкина оставалось не больше двух-трех минут.

Второй немецкий стрелок лежал с пулеметом в люльке, прикрепленной снизу к фюзеляжу «Юнкерса», и бил по Рябушкину. Рябушкин пошел в атаку на нижнего стрелка и перебил крепления, на которых держалась люлька. Она оторвалась от самолета и полетела вниз.

Но «Юнкерс» продолжал идти.

Правда, он уже не шел, а ковылял. Он неуверенно, как-то криво снижался, повисая левою плоскостью. Дым из левого мотора теперь застилал его всего и тянулся за ним длинной черной полосой.

И Рябушкин нанес последний удар.

Он атаковал его сверху и прошил длинной очередью от моторов до хвоста. «Юнкерс» опустил нос и, медленно крутясь, пошел вниз.

Рябушкин сопровождал его почти до самого льда. Бомбардировщик ударился о лед левой плоскостью и переломился. И сразу же синее с желтым пламя охватило всю машину.

Рябушкин сделал круг над горящим «Юнкерсом» и помчался назад к городу.

Рябушкин был так разгорячен боем и так взволнован своей победой, что совсем забыл о Костине и Карякине. Он несся к городу, и горящий «Юнкерс» стоял перед его глазами, как видение. Но когда город снова раскинулся под ним, он вспомнил все и понял, что искать их уже безнадежно, что они, безусловно, давно уже на аэродроме и что он виноват, безнадежно виноват, и вины этой уже не исправишь. Оставалось только одно – идти к аэродрому.

Но как не хотелось возвращаться виноватым! Рябушкин несколько отклонился от прямого пути, набрал высоту и пошел к Ладожскому озеру. Оно замерзло уже полтора месяца, и сейчас через него нельзя было ни переплыть, ни переехать. А между тем это был единственный путь, соединявший осажденный город с остальной страной. Рябушкин прошел низко-низко над краем озера. Горючее у него было совсем на исходе, и он повернул к аэродрому.

Аэродром он нашел, как всегда, по холму, возвышавшемуся над деревней. На самой вершине холма в овчинном тулупе и черной краснофлотской шапке стоял обдуваемый ветром наблюдатель с биноклем и автоматом. Рябушкин, сбавив газ, пролетел над ним в нескольких метрах, увидел окаймленное лесом поле, выпустил шасси, сделав круг, пошел на посадку.

Посадку он совершил великолепно.

К нему подбежал техник и помог вылезти из самолета. Рябушкин сразу заметил, что самолетов Костина и Карякина на аэродроме нет. «Неужели что-нибудь случилось? И случилось оттого, что я потерял их! Что же тогда?..» Он не мог даже додумать до конца этой мысли, такой страшной она ему показалась, хотел спросить техника, но не решился. Техник был гораздо старше Рябушкина, опытнее и в то же время был его подчиненным. Рябушкин, по молодости своей, в глубине души несколько побаивался своего техника. Он надеялся, что техник сам ему что-нибудь скажет. Но тот только осмотрел самолет и молча указал на шесть пулевых пробоев на плоскостях. «Если бы он знал, что я сбил «Юнкерс», – подумал Рябушкин. – Нет, он не знает. Никто не может знать...»

Рябушкин поднял очки, развязал тесемки шлема. Лицо у него было курносое, круглое, веснушчатое. Приземистый, он в своем синем подбитом мехом комбинезоне казался грузным и неуклюжим. На ногах были мохнатые унты из рыжих собачьих шкур, очень теплые, но мало приспособленные для ходьбы. Передав самолет технику, Рябушкин медленно пошел по снежной тропинке к командному пункту.

Землянка командного пункта была вырыта на склоне горы. Рябушкин спустился в низкий сумрачный коридор и толкнул обитую войлоком дверь. В лицо пахло сухим теплом и запахом сосновой смолы. Желтый колеблющийся свет керосиновой лампочки, лившийся через открытую справа дверь, озарял столбы, подпиравшие потолок, обитые свежими досками стены.

Землянку командного пункта летчики называли «дворцом», потому что в ней было целых три комнаты. Слева за дощатой перегородкой, в крохотной комнатке, заполненной телефонами, помещался оперативный дежурный, громкий голос которого постоянно заполнял всю землянку, а справа, за дверью, была комната командира – комиссара эскадрильи.

– Ну что ж, Рябушкин, входи, входи, – услышал он знакомый голос.

«Батя здесь, – подумал Рябушкин. «Батей» летчики называли командира эскадрильи капитана Рассохина. – Ну, все равно!» Он шагнул и остановился в дверях.

Рассохин сидел за столом прямо против двери. У него было широкое туловище и большая голова с жесткими рыжими волосами. Комбинезон на груди был

расстегнут, и золотые пуговицы морского кителя ярко блестели. Глаза его, устремленные на Рябушкина, тоже блестели, маленькие, светло-голубые, с крошечными острыми точечками зрачков. Рябушкин часто видел это лицо улыбающимся, добрым. Но сейчас оно было хмурым.

- Вы знаете, что вы сделали? - спросил Рассохин.

Обычно он говорил своим летчикам «ты». Когда начинал называть их на «вы», значит, дело было плохо.

- Знаю, - сказал Рябушкин.

- Пока Костин и Карякин вели бой, вы метались по всему небу, как щенок по двору, - продолжал Рассохин.

Рябушкин не обратил внимания на обидное слово «щенок».

- Где Костин, товарищ капитан?

- Ага, теперь вам интересно знать, где Костин? Когда он дрался, вам не интересно было знать, где Костин, где ваш командир звена?

Рябушкин хотел было спросить - не сбили ли Костина, но горло у него сжалось, и он не в состоянии был произнести ни звука. Мелкие капельки пота выступили у него на носу. Он старался смотреть Рассохину в лицо, но не выдерживал взгляда его маленьких острых глаз и посмотрел ему за спину, туда, где на кожаном диване спал какой-то человек. Что это был за человек, Рябушкин не видел, так как на его лицо падала тень широких плеч Рассохина. Были ярко освещены только ноги спящего в мохнатых, таких же, как у Рябушкина, унтах. Вероятно, Рассохин догадался, что хотел спросить Рябушкин, и сказал:

- Костин и Карякин сбили «Юнкерс». Они вернулись и снова вылетели...

«Сказать ему, что я тоже сбил «Юнкерс?» - подумал Рябушкин. - Сказать или не сказать? Нет, не скажу. Не поверит. Никто не видал».

- Это второй «Юнкерс», - вдруг проговорил человек, лежавший на диване. - Он шел в паре с тем, которого сбил ты.

Лежавший на диване поднялся, и Рябушкин увидел курчавую голову комиссара эскадрильи старшего лейтенанта Ермакова. Комиссар потянулся, зевнул, но в глазах его не было сна.

«Так, значит, кто-то видел. Значит, им сообщили».

По-видимому, глаза Рябушкина на мгновение повеселели, потому что лицо Рассохина стало еще сердитее.

- Все равно, - сказал он. - Я отстраняю вас от полетов.

Рябушкин ждал чего угодно, но только не этого. Это было слишком ужасно.

- Товарищ капитан...

- Все, - сказал Рассохин. - Можете идти.

Рябушкин повернулся и медленно вышел из землянки.

На аэродроме было оживленно. Самолеты взлетали, шли на посадку, но Рябушкин, всегда с жадностью следивший за полетами, теперь не поднял даже головы, не обернулся: ему тяжело было смотреть, как летают другие. Он добрел до деревни и зашел в летную столовую пообедать. После обеда Рябушкин пошел в избу, в которой обычно спал.

Изда была двойная: справа от сеней жили хозяева, слева – летчики. Рябушкину никого не хотелось видеть, и он надеялся, что сейчас, в дневные часы, на половине, занимаемой летчиками, никого нет. Но он ошибся. Перед печью сидел на табурете лейтенант Никритин и подбрасывал хворост в огонь.

Лейтенант был высок, тонок, с зачесанными назад гладкими, почти черными волосами. Звали его Николай Николаевич, но в эскадрилье его чаще называли просто Колей. Он сегодня не летал, потому что самолет его был поврежден и ремонтировался. Никритин с утра топил печь, и в избе было жарко, как в бане. Он топил ожесточенно и с угрюмым удовольствием следил, как хворост корежился и распадался в огне. Никритин был не в духе.

Рябушкин вошел молча, сел на свою койку и стал стаскивать с себя комбинезон.

- Ну, как? – спросил Никритин, не повернув головы.

- Отстранен от полетов, – сказал Рябушкин.

Никритин удивленно взглянул на Рябушкина, хотел что-то спросить, но, увидев его расстроенное лицо, промолчал.

Стащив с себя комбинезон, Рябушкин лег на койку и стал читать «Трех мушкетеров». Ему нравилась эта книга. Он привез ее с собой из летной школы и теперь читал уже во второй раз. Какой ловкий, смелый малый был д'Артаньян! Умел выйти из любого положения. Уж его бы, наверное, не отстранили от полетов.

- Город видел? – спросил вдруг Никритин.

Никритин был ленинградец. В Ленинграде жили его отец и мать.

Рябушкин молча кивнул головой, не отрываясь от книги.

- Бомбили сегодня?

- Кажется, бомбили. «Юнкерс» шел от города пустой. Я его сбил.

- Какой район бомбили?

- Не знаю.

Рябушкин снова уткнулся в книгу.

Никритин замолчал и палкой от метлы поправил в печке хворост. Но мысль о городе беспокоила его. Через минуту он вновь спросил:

- На озере был?

- Был.

- Ну и что?

- Ничего, – сказал Рябушкин, продолжая читать.

- Замерзло?

- Открытая вода только к северу, а здесь лед.

- Машины через озеро идут?

- Не видел. Лед, наверно, еще тонкий. А люди идут.

- Пешком? - спросил Никритин, отодвигаясь от печки и оборачиваясь к Рябушкину.

- Пешком. - Рябушкин положил книгу на подоконник. - Саночки за собой с барахлом тащат. А больше без саночек.

- Как же они идут - голодные, в мороз, при ветре? Тридцать верст по льду!

- Так и идут. Некоторые падают.

Рябушкин нахмурился и снова взял книгу с подоконника. Но Никритин вскочил и подошел к его койке.

- Ты сам видел, как падают? - спросил он.

- Ясное дело, сам. Одна женщина упала...

- Женщина? Где же ты видел? В каком месте?

- Да совсем близко, километрах в восьми от берега.

- Может быть, она и до сих пор там лежит?

- Может быть...

Рябушкин перевернул страницу. Никритин стал ходить взад и вперед по комнате, потом подошел к своей койке и начал переодеваться.

Рябушкин искоса следил за ним. Никритин надел кожаные штаны, сапоги, меховую куртку - так одевался он, когда ездил на своем мотоцикле, - и пошел к дверям.

- Ты куда, Коля? - спросил Рябушкин.

- Закрой трубу, когда прогорит, - сказал Никритин и вышел.

Вздывая сухую снежную пыль, Никритин мчался на мотоцикле по дороге, прорубленной среди высоких сосен, и выехал на шоссе, проложенное вдоль берега озера. Здесь он понесся еще быстрее. Слева, между редкими стволами деревьев, виднелась замерзшая, пустынная гладь озера, тянувшаяся до самого горизонта. Наконец по обе стороны шоссе замелькали домишки и показался высокий маяк, построенный из красного кирпича на лесистом мысу. Неподалеку от маяка начиналась дорога через озеро. Ее только прокладывали. Группы красноармейцев на льду расчищали деревянными лопатами снег. Часовой остановил Никритина и проверил его документы.

- Лед тонок, - сказал часовой. - Утром вышла полутонна и провалилась.

Никритин дал газ и выехал на лед.

Расчищенный участок пути скоро кончился, и началась обыкновенная тропинка, протоптанная в неглубоком снегу. Ветер заносил ее морозной снежной пылью. Местами лед был неровный и состоял из отдельных смерзшихся льдин. Они трескались и шевелились под мотоциклом. Кое-где Никритину приходилось идти пешком и вести мотоцикл. Потом на льду стали попадаться осколки шрапнели. Раза три он видел полуметровые воронки, пробитые во льду снарядами. Вблизи каждой из этих воронок тропинка внезапно делала выгиб, распадалась на несколько разбегающихся в разные стороны дорожек, которые потом вновь соединялись.

Никритин услышал далекий оружейный выстрел. Позади, метрах в пятидесяти от мотоцикла, разорвалась шрапнель. Стреляли немцы, захватившие южный берег озера, еле видный вдаль. Через минуту новый шрапнельный снаряд разорвался слева от Никритина. Он понял, что метят в него, и увеличил скорость. Еще снаряд. Никритин несся во весь дух, подсакивая на неровностях льда. За его спиной садилось солнце - красное, огромное, заливая озеро багровым светом.

Вдруг Никритин заметил впереди мужчину и двух женщин. Они волокли за собой салазки, на которых лежало что-то, прикрытое мешковиной, и при разрывах шрапнели даже не поворачивали голов.

Никритин сбавил скорость и, нагнав идущих, слез с мотоцикла. Пешеходы не взглянули на него.

- Вы не видели, где здесь упала женщина? - спросил он.

- Не видели, - ответил мужчина.

Никритин вскочил на мотоцикл и помчался дальше. Немцы перестали стрелять. Солнце село. Начались сумерки. Снег на озере был уже не багровым, а бледно-голубым. Ветер стал резче. Трещины во льду попадались чаще, и льдины все больше и больше оседали под мотоциклом. Никритин внимательно смотрел по сторонам. Он уже начал терять надежду, как вдруг в сотне шагов от себя заметил что-то темное на льду. Он слез с мотоцикла и пошел по снегу. Он шел нерешительно, потому что темный предмет этот казался ему слишком маленьким. «Человек ли это? Скорее какой-нибудь сверток...»

Но, пройдя шагов двадцать, Никритин разглядел валенки и откинутую руку в черной варежке. Он побежал.

Это была женщина. Маленького роста. Она неподвижно лежала на спине возле одного из ответвлений тропы. Лицо было обернуто платком. Виднелся только краешек лба. Никогда Никритин не видал у живых людей такого белого лба. На женщине было пальто с поднятым потертым меховым воротником; одна рука спрятана в муфту, лежащую на животе, другая - откинута в сторону.

Никритин опустился на колени и, отбросив свои кожаные рукавицы, коснулся пальцами ее лба. Лоб холодный. Тогда он просунул руку между ее воротником и платком. Там было тепло. Жива.

- Встаньте, пожалуйста, - толкал он ее. - Слышите меня?

Но женщина даже не пошевелинулась.

Долго ли она здесь лежит? Рябушкин пролетал тут часа два назад. Но, может быть, это вовсе не та, которую он видел.

Никритин взял ее за плечи и начал осторожно приподымать, посадил. Но едва он перестал ее поддерживать, она упала на бок. Тогда он поднял ее и понес. «Удивительно легкая», - подумал он. Она не приходила в себя, но теперь Никритин уже не сомневался, что женщина жива: ноги и руки у нее хорошо гнулись, она дышала.

Он посадил женщину на мотоцикл сзади себя и привязал к себе ремнем. Больше всего возни было с ее валенками: едва мотоцикл двинулся, оба валенка у нее слетели. На ее ногах, с крохотными ступнями, были черные гамашы и серые нитяные носки. Ему пришлось отвязать ремень, слезть с мотоцикла, затем, придерживая ее, чтобы она не упала, поднять валенки и надеть ей на ноги...

Чтобы валенки опять не свалились, он прикрепил их веревкой к раме.

Он снова сел на мотоцикл, снова привязал ее к себе ремнем и поехал. Быстро темнело. Уже видны были звезды. Бледный закат сиял впереди. Никритин опять увидел тех троих с салазками. Они медленно брели по темнеющей пустыне озера и не обратили внимания на промчавшийся мотоцикл. Никритин торопился. Он всю гнал мотоцикл, подпрыгивая на всех трещинах, пересекавших лед. Женщина навалилась Никритину на спину, голова ее лежала у него на плече, и холодный лоб касался его щеки.

Только бы донести ее живой, только бы донести...

- Ну пойдём отсюда, пойдём. Ну зачем ты здесь стоишь? Здесь холодно. Ты замерз.

- Не пойду, - сказал Павлик.

- Ты опять хочешь кричать? - спрашивала Эрна. - Ведь ты уж кричал. Все равно никто не услышит. Кому нужно заходить на этот двор? Пойдем, посидим в тепле.

Павлик молчал. Он не собирался больше кричать. Но уйти отсюда он не мог. Если они уйдут туда, в темноту, на нары, их никогда не найдут.

Он простоял под этой щелью весь день и замерз, жестоко замерз, но холода, казалось, не замечал. Холод не пугал его. Его пугали надвигавшиеся сумерки.

- Через час будет темно, - сказал он.

- Ну да, ну да! - подхватила Эрна. - Скоро будет темно, а в темноте уж никто сюда не придет. Зачем же здесь стоять? Пойдем, посидим на нарах. А завтра ты опять сюда. И завтра нас непременно найдут, вот увидишь!

Она хитрила, она всячески его уговаривала, но он не уходил.

- Ночью мне нужно быть там, - сказал Павлик.

- Где?

- Наверху.

- Почему ночью? Не все ли равно, где спать? Здесь очень хорошо спать.

- Мне спать нельзя, мне ночью нужно быть наверху, - сказал Павлик упрямо. - Он их пускает по ночам.

- Что пускает? - не поняла Эрна.

- Ракеты. Сегодня ночь будет ясная, он непременно будет пускать ракеты. Прошлой ночью я чуть было его не поймал. Сегодня я поймаю его, если мы уйдем отсюда.

Он сразу умолк, потому что вдруг чья-то тень заслонила свет, проникавший через щелку. Потом опять посветлело. Потом снова потемнело. Кто-то бродил по двору перед щелкой, отходил и возвращался.

Щелка была узкая, и Павлик видел только движущиеся пятна - что-то черное большое, что-то бурое, мохнатое, что-то белое. Он хотел уже крикнуть, но в это время маленькая ладонь стремительно зажала ему рот.

- Молчи, молчи! - шептала Эрна.

Павлик удивился. Он осторожно отвел рукою ее ладонь.

- Молчать? - спросил он шепотом. - Зачем молчать? Нужно позвать его.

- Молчи, ну молчи! - шептала она умоляюще. - Это он.

- Кто он?

- Я потом тебе скажу. Только молчи, молчи, пожалуйста.

Эрна была в таком волнении, что Павлик покорно замолк, хотя ужасно боялся, что этот человек там, наверху, уйдет.

Но человек не уходил. Он что-то делал возле самой щели. Было слышно, как он

переступал с ноги на ногу, как хрустела штукатурка у него под ногами. Раздался стук. Человек наверху чем-то постукивал по каменной плите, закрывавшей отверстие. Казалось, он пытался сдвинуть ее с места. Но плита не поддавалась.

Потом в щель сверху осторожно пролезла тонкая палка. Это была трость, черная лакированная трость с металлическим наконечником. Человек, видимо, хотел узнать, глубока ли щель. Трость не достала до пола подземелья, и он быстро вытянул ее наверх. Затем стали слышны удаляющиеся шаги.

- Он уходит! - сказал Павлик.

- Молчи!

- Он же уходит!

Она с силой зажала Павлику рот и обеими руками прижала его голову к себе. Павлик оттолкнул Эрну.

- Скажи, кто он?

- Молчи! Это Василий Степаныч.

- Какой Василий Степаныч?

- Мой дядя. Молчи!

Но шаги наверху уже снова приближались. Человек нес что-то позвякивающее о камни. Вслед за этим над самыми головами Павлика и Эрны раздался скрип. Человек наверху работал железной лопатой. Он сгреб с каменной плиты кирпич и штукатурку, потом отбросил лопату, отпихнул ногою плиту, и Павлик увидел Василия Степановича.

Над отверстием стоял представительный мужчина средних лет, высокого роста, в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Левою рукой в кожаной черной перчатке он вертел трость с блестящей металлической рукояткой и смотрел вниз, в отверстие. Возможно, там, внизу, он заметил платок Эрны, белевший в темноте. Василий Степанович внимательно вглядывался, стараясь отгадать, что это такое. Эрна стояла не шевелясь, почти не дыша, в сторонке от столба света, падавшего через отверстие. Павлик был рядом с ней.

Василий Степанович быстро обернулся, посмотрел - нет ли кого во дворе - и затем ловко спрыгнул в отверстие.

Ему пришлось нагнуться, чтобы не задеть шапкой за потолок подземелья. Нагнувшись, он сделал шаг, остановился, вглядываясь в темноту, и зажег электрический фонарик. Яркий сноп света скользнул сначала по лицу Павлика, затем по лицу Эрны.

- Это ты? - воскликнул он. - Жива? Какая радость!

Голос у него был мягкий, немолодой. Василий Степанович, как видно, был необычайно взволнован встречей с Эрной. Он потушил фонарик и спрятал его в карман. Потом вынул из кармана чистейший, выглаженный, сложенный вчетверо носовой платок, осторожно развернул его и вытер себе глаза. Опять так же аккуратно сложил платок и сунул его в карман.

- Жива... - повторил он расслабленно. - Как я искал ее все эти дни, как искал! Она обидела меня, незаслуженно обидела, ох, как обидела! Я искал ее все эти дни и ночи, искал повсюду. Уже не было никакой надежды, а я все искал...

Он говорил сам с собой, не в силах подавить волнение.

- Пойди сюда, милая моя девочка!

Эрна не двинулась с места. Тогда он сам подошел к ней, взял за руку, обнял и поцеловал в макушку, через шерстяной платок.

- И ты была здесь все время? - продолжал он. - В таком холоде? Бедная... Чудо, что ты жива. Где же ты спала? Там, на нарах? И этот мальчик был с тобою? - Он погладил Павлика по шапке. - И больше никого не было? Ну, пойдем, пойдем, я хочу посмотреть, как вы тут жили...

Крепко держа Эрну за руку, Василий Степанович открыл дверь в комнату с нарами.

- Здесь гораздо теплее, - сказал он. - Иди и ты, милый мальчик. - Он вынул из кармана фонарик, и желтый кружок электрического света запрыгал по нарам. - Вот тут вы жили? - Он торопливо шагнул вперед, таща за собой Эрну. Павлик шел следом. - Вот и засыпанный выход...

Однако засыпанный выход не надолго привлек к себе внимание Василия Степановича. Свет фонарика торопливо скользнул по обвалу и перескочил на ту стену, где была дверь в комнату с телефоном. На этой стене, и особенно на двери, желтый кружок света задержался гораздо дольше. Дверь была заперта снаружи большим замком, и замок этот Василий Степанович освещал по крайней мере целую минуту.

- Что же ты здесь ела? - Василий Степанович направил луч света Эрне в лицо. - Столько дней! Милая, милая...

Эрна молчала. Вообще с самого его появления она не произнесла ни одного слова, хотя покорно ходила за ним.

- Она ела изюм и сухари, - сказал Павлик.

- Что? Изюм и сухари? - переспросил он и снова осветил замок на запертой двери. - Где ж ты взяла?

- Вот в этой комнате, - указал Павлик.

Василий Степанович, ведя за собой Эрну, торопливо подошел к двери и ощупал замок.

- Так ведь здесь заперто! - с недоумением и даже тревогой воскликнул он. - Ах, боже мой, стена треснула...

Он сразу нырнул в трещину, таща за собой Эрну. Павлик тоже полез вслед за ними. Василий Степанович осветил телефон. С чрезвычайной поспешностью он бросил свой фонарик на стол и схватил телефонную трубку. Немного послушав, повесил трубку на рычаг и, снова взяв фонарик, осветил ящики с изюмом и сухарями. Он пощупал сухари, взял одну изюминку и проглотил ее.

- Еще осталось, осталось... - приговаривал он. - Тебе одной еще дня на четыре хватило бы, а вам двоим - на два. По нынешним временам это неисчислимое богатство! Что же с этим делать? Здесь, вероятно, был склад какой-нибудь или что-нибудь в этом роде. Добро государственное, мы обязаны его сберечь. Оставить так нельзя. Раскрадут, непременно раскрадут. Взять с собой?.. Чтобы потом сдать, конечно, заявить и сдать... Нет, в квартире сейчас тоже небезопасно: жильцы, соседи. Оставить так, а дырку в подzemелье завалить со двора камнями, да еще снежком присыпать, чтобы не видно... а потом заявить, - решил он. - Да что же я столько времени теряю? Скорей, скорей. Ведь ты так давно не дышала свежим воздухом... Мальчик, ты тоже пойдешь с нами.

Эрна, поев каши, сразу, не раздеваясь, заснула на диване. Василий Степанович накрыл ее шерстяным платком и подсел к железной печурке. Он все еще был в шубе, хотя комната уже достаточно нагрелась. Бобровая шапка лежала у него на коленях, и большой выпуклый лоб его, сливающийся с лысиной, блестел при свете крошечной коптилки, стоявшей на столе. Дверца печурки была открыта, и алые отсветы пламени прыгали по мебели, загромождавшей комнату. Здесь было много разных столиков, диванчиков, шкафов, кресел, стульев с гнутыми ножками и спинками, с поблескивавшей во тьме позолотой. Они стояли друг на друге, загораживая стены.

Василий Степанович время от времени подбрасывал в печурку щепки, а Павлик, уже съевший тарелку каши, сосал ломтик шоколадки, стараясь делать это как можно медленнее.

- Странная, безумная девочка, - сказал Василий Степанович. - Ты заметил, что она странная?

Павлик кивнул головой.

- Она вместе с матерью бежала от немцев из Таллина. Тогда уже проехать можно было только морем. На пароходе были одни женщины и дети, и все же немцы разбомбили пароход. Экие негодяи! Эрну и ее маму спасли - их подобрал в воде другой пароход. Но и этот пароход немцы потопили, и Эрна с матерью снова тонули, их снова спасли. Мать Эрны - это моя родная сестра - заболела и умерла, и с тех пор Эрна стала такая странная. Ей всюду чудятся немцы. Она тебе об этом говорила?

Павлик покачал головой.

- Она погибнет, непременно погибнет, - продолжал Василий Степанович. - На этот раз она спаслась только чудом. Если она снова убежит, то, безусловно, умрет с голоду. Вот, удрала от меня и даже своей хлебной карточки не захватила. Я все эти дни получал продукты по ее карточке и откладывал. Эта каша сварена из ее крупы, так что это она тебя угостила, а не я. На карточку, конечно, сейчас не проживешь, но у меня кое-что есть... Со мной она даже не разговаривает. Быть может, тебя послушает? Приходи к нам чаще, уговори ее не убежать из дома. Поговоришь? Обещаешь?

Павлик кивнул головой.

Василий Степанович встал и осторожно поправил на спящей Эрне платок, подложил в печурку щепок и снова уютно расселся в кресле.

- Так ты ловишь ракетчиков? - спросил он у Павлика.

- Угу, - ответил Павлик, не открывая рта.

- Удивительные мальчики в нашем городе! Все они либо ловят ракетчиков, либо тушат зажигательные бомбы, - сказал Василий Степанович. - На крышах сейчас куда больше детей, чем в садах. Всякий другой город в мире давно бы сгорел, если бы на него бросали столько зажигательных бомб! Но у нас зажигательные бомбы тушат, у нас мало пожаров. Вот с ракетчиками дело другое. Мне иногда думается: да существуют ли вообще в природе эти самые ракетчики, не миф ли это, не плод ли народной фантазии. Ты, например, видел ракету?

- Видел, - сказал Павлик.

- Ну, когда например?

- Сегодня утром видел. Перед первой бомбежкой. Когда еще темно было.

- Откуда же ты знаешь, что это ракета? Сейчас вокруг города днем и ночью артиллерийская пальба, на небе непрерывные вспышки, и, вероятно, отсвет дальнего выстрела ты и принял за ракету.

- Нет, я его ракету со вспышкой не спутаю.

- Какая же она, эта ракета?

Павлик задумался.

- Зеленая... - сказал он неуверенно. - Особого зеленого цвета.

- Какого же это особого?

- Свет у нее мертвый.

- Мертвый? Вон оно что! И ты много раз видел эти ракеты?

- Несколько раз.

- Ну хорошо. Предположим, ты сегодня утром видел ракету, - сказал Василий Степанович. - А ракетчика? Ракетчика видел?

- И ракетчика видел.

От шоколадки во рту уже ничего не осталось, и Павлику ничто не мешало говорить.

- Он всегда пускает ее с одного и того же места и всегда как только начнется тревога. Сегодня я подстерег его. Заранее стал возле того дома и подстерег. Только началась тревога - та, первая, я сразу на чердак и через окошко - на крышу. Там всего одно окошко. Крыша железная и такая крутая-крутая, что на ней можно только лежать. Даже снега на ней почти нет, весь скатывается. Я лег и стал ждать.

- А далеко этот дом?

- На соседней улице. Совсем от вас близко.

- А ракетчик тоже лежал на крыше? - спросил Василий Степанович.

- Сначала я его не видел, ведь было темно. Зенитки уже стреляли, и «Юнкерсы» летели над городом. И вдруг смотрю, он надо мной, на самом гребне крыши. Небо уже побледнело, и я хорошо видел его плечи, голову. Вот ног не видел! Наверно, они были на другом скате крыши, за гребнем. Он поднял руку и выстрелил в небо.

- Выстрелил?

- Ракетница похожа на большой пистолет. Ракета полетела вверх, сразу стало светло, и я совсем хорошо его увидел.

- Даже лицо разглядел?

- Нет, не успел. Я только заметил, что на нем светлая кепка с большим козырьком. Ракета погасла, и тут начали бомбить. Я прижался к крыше, чтобы меня не сбросило воздушной волной. Потом пополз вверх, но на гребне его уже не было. Я заглянул через гребень. На другом скате крыши его тоже не было. Это очень странно.

- Почему же странно? - спросил Василий Степанович. - Он просто ушел.

- Он никуда не мог уйти, потому что на ту крышу есть только один ход - через то окошко, в которое я сам пролез. Дом шестизэтажный, с моего ската - улица, с его ската - двор, на другие крыши никак не перейти, я это хорошо рассмотрел.

- Однако он исчез?
 - Исчез.
 - И ты его больше не видел?
 - Нет, видел.
 - Видел? Где?
 - На улице. Я сошел вниз, уже совсем светало, он стоял под воротами, он ждал.
 - Чего ждал?
 - Ждал, когда на улице станет больше народу.
 - Как же ты узнал, что это он, если ты там, на крыше, не разглядел его лица?
 - По кепке. На нем была серая кепка с большим козырьком.
- Василий Степанович засмеялся.
- Да мало ли людей ходят в таких кепках! – воскликнул он.
 - Теперь мало. Летом много, а теперь мало. Теперь все гражданские в шапках.
 - Есть и в кепках.
 - Есть, – согласился Павлик. – Я еще по лицу догадался.
 - По лицу?
 - У него лицо было в копоти. Он, верно, сам этого не знал.
 - Откуда же копоть?
 - От ракеты.
- Василий Степанович вытер ладонью свое белое, бритое, чистое лицо.
- Ну, теперь у многих лица закоптели. Теперь всем приходится возиться с печурками да с коптилками.
 - У него копоть была не такая. Лиловая, с блеском. Все лицо закопченное, и больше всего вот здесь, вокруг глаз. Из-за этой копоти я опять не мог разглядеть его лица.
 - Опять не разглядел! – сказал Василий Степанович и рассмеялся совсем громко. – А как он был одет?
 - В коричневом пальто. Потертое, грязное такое.
 - А какого он роста?
 - Высокий. Такого же роста, как вы. Только тоньше вас. Хотя, если с вас снять шубу, вы тоже были бы тоньше.
 - И долго он стоял в воротах?
 - Нет, недолго. Когда на улице стало больше народу, он пошел. И я за ним. Хотел узнать, где он живет.
 - И он не оглядывался?
 - Ни разу. Он вышел на набережную, потом свернул на проспект и по проспекту

пошел назад. Видите, как кружил? Другие люди так не кружат. Потом он свернул в разрушенный дом. Я за ним, а его там уже не было.

- Куда ж это ты? - спросил Василий Степанович, увидев, что Павлик надевает шапку.

- Пойду, - сказал Павлик, завязывая тесемочки под подбородком.

- Оставайся. Переночуешь у меня, завтра утром поговоришь с Эрной. Оставайся. Ты мне еще что-нибудь расскажешь. Ты так интересно рассказываешь. Хочешь, я завтра напишу записку к директору твоего детского дома, что ты ночевал у меня? Он не рассердится. Он меня знает, я ведь заведу большим магазином.

- Нет, я пойду.

- Не хочешь? Ну, что поделаешь, иди, но только приходи скорее. Ты ведь обещал поговорить с Эрной. - Василий Степанович встал, чтобы проводить Павлика. - Я хочу подарить тебе вот этот электрический фонарик. На, возьми. Ты славный, смелый мальчик. А мальчику, который охотится по ночам за ракетчиками, электрический фонарик очень нужен. Бери, бери.

Фонарик! Павлик взял его и радостно зажал в кулаке.

Василий Степанович закрыл за Павликом дверь. Оставшись на лестнице один, Павлик сразу же зажег фонарик. Кружок света упал на дверь с медной дощечкой. На дощечке было написано:

«Тарараксин... Странная фамилия, - подумал Павлик. - Где я ее слышал?..»

Павлик вышел из парадного. На улице было темно и пусто. Ночное небо осажденного города как бы вздрагивало от мгновенных огненных вспышек: кругом шли бои. Едва Павлик, сжимая в кулаке новый фонарик, перешел улицу и ступил на противоположную панель, завывла сирена.

Он остановился в нерешительности и с досадой подумал, что ему следовало бы находиться сейчас возле того дома, где человек в коричневом пальто пускает ракеты. Напрасно он так засиделся у Василия Степановича! А чтобы добраться до этого дома, нужно обогнуть целый квартал. Побежать? Но уже грохот зениток нарастал и приближался, как прибой, и сквозь этот грохот слышалось угрюмое жужжание моторов. Нет, бежать туда уже поздно.

И вдруг все кругом озарилось зеленым мертвенным светом, таким знакомым Павлику, таким ослепительным, что трудно было не зажмуриться. Ракета взлетела прямо над его головой. Откуда?

Так вот оно что! Ракету пустили с той же крыши, что всегда, но эта крыша находится рядом с крышей того дома, где Павлик только что был.

Он стремглав перебежал улицу, вскочил в парадное и, прыгая через ступеньки, поднимался вверх по лестнице. Окна с выбитыми стеклами не были завешены, и отсветы вспышек от зенитных орудий озаряли лестницу так ярко и часто, что Павлик даже не вспомнил о своем фонарике. Добежав до площадки пятого этажа, он увидел в этом мигающем свете Василия Степановича. Василий Степанович был взволнован до крайности. Шуба на нем была распахнута.

- Я видел!.. - закричал он Павлику еще издали. - Видел через это окно... Случайно вышел на площадку... Зеленый свет... Скорей, скорей! Бежим вместе... Я помогу тебе... На чердак!.. Быть может, он спускается где-нибудь!..

Василий Степанович вместе с Павликом бежал вверх по ступенькам, к чердаку, путаясь в полах своей длинной шубы. Низкая дверь чердака была раскрыта, и они нырнули в нее, пригнув головы.

Непроглядная тьма охватила их.

- Спрячь фонарь, не зажигай! - прошептал Василий Степанович. - Свет может выдать нас. Дай руку, я проведу тебя к окну.

Где-то неподалеку ударила бомба, пол качнулся под ними, ветер хлестнул им в лица, и они едва удержались на ногах.

- Это он выдал им город ракетой, - сказал Василий Степанович.

Ударила вторая бомба, немного подальше. Потом третья, четвертая, совсем далеко. Василий Степанович тащил Павлика за руку к чердачному окну.

- Смотри! Смотри! - говорил он. - Где та крыша, про которую ты рассказывал?

Огромное далекое зарево было за окном, и ту крышу при свете зарева Павлик узнал сразу. Вот она, тут, за узкой пропастью двора, несколько справа. Вот ее крутой скат, обращенный ко двору. Весь скат лежит значительно ниже чердака того дома, где живет Василий Степанович, только самый гребень - на одном уровне с чердачным окном. Как же перебраться отсюда туда или оттуда сюда? Нет, ракетчик проходит не этим путем.

Гул зениток отхлынул и затихал в отдалении, как огромная волна, перекатившаяся через них. Василий Степанович держал Павлика за плечи и втискивал его голову в чердачное окно.

- Погляди, погляди! - говорил он. - У тебя глаза лучше моих. По-моему, там на

крыше кто-то есть!

Павлик глядел во все глаза, но никого не видел.

- Хорошенько гляди! Зрение у тебя хорошее? Вон, вон там, слева, у самого края!.. Лежит, шевелится, ползет! Эх, жаль, у меня нет револьвера, я бы застрелил его... Видишь?

- Ничего не вижу, - сказал Павлик в отчаянии. - Там никого нет.

- Не видишь? Ну, значит, меня подводят глаза. Придется скоро очки заводить. Да я и сам теперь никого не вижу... Я ошибся... Это труба или что-то вроде... Я вон тот выступ принял за человека... Но мы его еще выследим с тобой, мы с тобой его еще поймает!

Через несколько минут Павлик снова сидел в комнате Василия Степановича. В печурке потрескивали щепки, ласково сиял крохотный огонек в коптилке. Эрна лежала с закрытыми глазами.

- Нет, нет, нет, сегодня ты никуда не пойдешь, - говорил Василий Степанович. - Уже поздно, ты будешь ночевать у меня. Ложись вот на этот диванчик и накройся пальто, к утру здесь будет холодно. А я пойду, пойду на минуточку, через площадку, к больному соседу. Пойду посмотрю, не слишком ли он испугался... Он очень боится бомбежки...

Едва Василий Степанович вышел, Эрна открыла глаза.

- Ты давно проснулась? - спросил Павлик.

- Когда бомбили, - сказала Эрна.

- Ты больше не убегай от него, - сказал Павлик. - Это глупости. Мне кажется, он хороший.

Эрна молчала.

- Не убежишь?

- А ты будешь приходить ко мне? - спросила она.

- Буду. Не убежишь?

- Не знаю... Может, и не убегу.

Павлик снял пальто, шапку, ботинки и лег на диванчик. От печурки, раскаленной докрасна, веяло на него жаром. Он давно не спал в таком тепле. Как хорошо! И еще хорошо, что он выполнил свое обещание Василию Степановичу, уговорив Эрну не убегать; что у него замечательный электрический фонарик; что его назвали славным и смелым мальчиком. Все, все очень хорошо! А ракетчика он выследит и поймает.

С этой мыслью Павлик уснул.

- Подъем! - сказал дневальный, заглянув в дверь, и ушел.

Лейтенант Вадим Алексеев проснулся первым. Он вскочил, надел в темноте брюки, унты и повернул колесико своей зажигалки. Зажигалка у него была на редкость крошечная, купленная в Эстонии, и он очень дорожил ею. Алексеев зажег керосиновую лампу на столике, и желтый свет озарил комнату.

Все проснулись. Алексеев достал из чемодана зеркальце в форме сердца, поставил его на столик и стал бриться. Бритье для него было делом сложным: он оставлял узенькие бачки, крохотные усики под носом и тщательно ухаживал за ними. Он очень заботился о своей наружности.

- Вадим, посмотри, какая погода, - сказал Костин. Костин лежал и курил, скинув с груди одеяло, узкий и худощавый, с выступающими сквозь тельняшку ключицами. Алексеев встал и, держа бритву в руке, слегка отодвинул кусок картона, которым загоразивали на ночь окно.

- Темно, - сказал он. - Ничего не видно.

- Звезды есть? - спросил Костин.

Все напряженно ждали, что ответит Алексеев. Но сколько Алексеев ни вглядывался, он видел в темном стекле только свое длинное лицо, с бачками, усиками и намыленным подбородком.

- И звезд не видно, - сказал он и снова сел бриться.

- Не полетим сегодня, - тоскливо произнес младший лейтенант Ваня Чепенков и покраснел.

Ваня Чепенков был молчалив и застенчив, и его круглое, почти девичье лицо обладало способностью поминутно и беспричинно краснеть.

- Через окно не разглядишь, - сказал Карякин. Все уже слезли с коек и одевались, и только Рябушкин продолжал лежать.

- Рябушкин, а почему ты не встаешь? - спросил Чепенков вполголоса. И тут только вспомнил, что Рябушкина отстранили от полетов.

- Ему сегодня вместе с Никритиным печку топить, - сказал Карякин, натягивая на себя меховой комбинезон. - Топите жарче, ребята.

Рябушкин повернулся лицом к стене. Карякин почувствовал, что об этом говорить не следовало.

- Никритин, твоя машина все еще не готова? - спросил Костин.

- Нет еще, - поморщился Никритин.

- А чего же ты встал так рано?

- Хочу на командный пункт сходить... Может быть, Батя что-нибудь надумает...

- Он не на командный торопится, а в санчасть, - усмехнулся Алексеев.

После этих слов все замолчали, вспомнив о девушке, которую привез Никритин. Она лежала в санчасти. Вчера вечером она так и не пришла в себя. Кроме Никритина, никто из них ее не видел, но все уже знали о ней.

Никритин был недоволен, что Алексеев разгадал его намерение зайти перед завтраком в санчасть, но не сказал ничего.

Они впятером вышли на крыльцо. Светать еще не начинало. Слегка морозило, дул слабый западный ветер. Стоял туман.

- К полудню разгонит? - спросил Карякин у Костина.

- А черт его знает! Я не колдун.

Они гуськом пошли по пустынной деревенской улице к столовой, и в своих комбинезонах, унтах и шлемах казались неуклюжими, как медведи.

Поравнялись с домиком санчасти. Все ждали - зайдет Никритин в калитку или нет. Никритин зашел.

- И я с тобой, Коля, - сказал Алексеев. - Хочу поглядеть на нее.

Поглядеть на девушку хотелось, конечно, каждому, но Алексеев был бойчее всех.

- Я тоже зайду, пожалуй, - небрежно заметил Карякин.

- Тебе незачем, - остановил его Костин. - Они зайдут вдвоем, и достаточно. Идем в столовую.

Поднявшись на крыльцо, Никритин и Алексеев тщательно счистили еловой веточкой снег с унтов и вошли в приемный покой. Там, за столом, перед маленькой керосиновой лампой, сидели военврач Липовец и медицинская сестра Нюра.

Липовцу было всего двадцать четыре года. Медицинский институт он окончил за неделю до войны. Несмотря на свою молодость, он был почти совершенно лыс и считался очень ученым человеком. Увидев входящих летчиков, он придал своему лицу чрезвычайно серьезное выражение.

Сестра Нюра («толстая Нюра», как ее называли, потому что она была очень толста даже теперь, когда все похудели) встала и от волнения грузно затопала ногами. Особенно взволновал ее приход Алексеева. В него она была влюблена, и все это знали. Молчаливая и неповоротливая, Нюра свои чувства выражала только топаньем.

- Ну как? - спросил Никритин. - Очнулась?

- Очнулась, - ответил Липовец. - Сейчас спит. Ночью стонала. Сильные боли. Отморожены ноги. Я наложил ей повязки с ксероформенной мазью.

- А ноги уцелеют?

- Если не будет заражения. Но дело не в обморожении. Сильное истощение - вот что. Слабая сопротивляемость организма. Не нужно ее будить.

- Я хочу посмотреть на нее, доктор, - сказал Алексеев. - Только посмотреть. Можно?

И, не дожидаясь ответа, он шагнул к двери соседней комнаты, называвшейся палатой.

Толстая Нюра шумно переступила с ноги на ногу: любопытство Алексеева к обмороженной девушке ей не нравилось. Липовец кинулся к двери, чтобы преградить Алексееву дорогу, но было уже поздно: Алексеев приоткрыл дверь, надавив на нее плечом.

- Хорошо, хорошо, я вам ее покажу, - сказал Липовец, уступая. - Только тихо, совсем тихо. Дайте мне пройти вперед.

Он взял со стола лампу, и они на цыпочках вошли в палату - впереди маленький лысый Липовец, в халате, с лампой в руке, за ним Алексеев, за Алексеевым - Никритин, а сзади - толстая Нюра.

В комнате стояли две койки. Одна пустая, а на другой спала, слегка приоткрыв рот, девушка, найденная на льду. Светлые спутанные волосы ее в беспорядке лежали на подушке. У нее были довольно широкие скулы, худенькое личико с прозрачной кожей, с синеватыми пятнами под веками и на висках.

Алексеев и Никритин молча смотрели на нее.

Вдруг девушка открыла глаза и застонала. Глаза у нее оказались совсем темными и в первое мгновение не выражали ничего, кроме боли. Потом она заметила обоих летчиков. Взор ее стал осмысленным, она перестала стонать. Посмотрела сначала на Алексеева, потом на Никритина. Она вглядывалась Никритину в лицо, словно пытаясь что-то вспомнить.

- Спите, спите, - сказал Липовец. - Вам лучше всего поспать. Идемте, товарищи.

И они вышли.

Когда летчики кончили завтракать, уже почти рассвело. У крыльца столовой их ждала полторатонка. Небо голубело, но над землей еще стоял туман. Утро было сомнительное. Какой будет день?

- В лучшем случае вроде вчерашнего, - заметил Костин.

- Тю! - сказал Карякин весело. - К полудню все разнесет!

Карякин был человек бодрый, жизнерадостный и всегда предполагал только хорошее.

Костин как старший по званию и должности сел в кабину рядом с шофером; остальные полезли в кузов. Ехали стоя, положив руки на плечи друг друга и опершись спинами о крышу кабины. Карякин запел:

К «ишаку» подходит техник, Нежно смотрит на него...

Чепенков подхватил сильным высоким голосом:

Покачает элероном И не скажет ничего.

Чепенков любил и умел петь. Карякин знал, что стоит его только, так сказать, завести, а там уже он сам пойдет. Карякин умолк, а Чепенков продолжал звонко и громко:

И кто его знает, Чего он качает, Чего он качает, Чего...

- Головы! - вдруг крикнул Карякин.

Все разом присели, пригнув головы. Карякин захохотал. Это была шутка, которая повторялась каждое утро, и всегда с успехом. Дело в том, что при въезде на аэродром полторатонка должна была пройти под шлагбаумом, и летчикам приходилось нагибаться, чтобы не удариться головами. Но Карякин всякий раз кричал: «Головы!» - за сотню метров до шлагбаума и, наслаждаясь, глядел, с какой стремительностью все приседали. Сам он при коротеньком своем росте шлагбаума не боялся.

В землянке командного пункта - во «дворце» - их встретили Рассохин и Ермаков. Рассохин был уже в шлеме, и все поняли, что вылет, несмотря на плохую видимость, состоится.

- Задание уже есть, - сказал Рассохин. - Пойдем шестеркой. На штурмовку. Работа ювелирная...

«Ювелирной работой», или «штурмовкой на пяточке», в эскадрилье называли штурмовку какого-нибудь очень маленького участка на самом переднем крае, в непосредственной близости от наших войск. Такая штурмовка требовала необычайной тщательности и точности: нужно было не задеть наши войска, готовые к прыжку вперед, к атаке. Операция эта была рискованная, так как приходилось спускаться очень низко, лезть навстречу зенитному огню.

Маленькие острые глазки на широком лице Рассохина оживленно голубели. Он рассказал, что немцы поставили батарею на лесистом бугре и бьют по дороге через озеро. Наши войска почти окружили бугор, но выбить немцев не удастся. Приказано штурмовать бугор с воздуха.

- Вытащите карты, - предложил он. - Рассмотрите квадрат «В»...

Все раскрыли свои планшеты и вытащили карты. Все, кроме Никритина.

- А ты что же? - спросил его Рассохин.

- Моя машина не готова, товарищ капитан, - сказал Никритин.

- Пойдешь на машине Рябушкина. Ну давай, давай!

Никритин мгновенно раскрыл планшетку. Ему, конечно, немного жаль было Рябушкина, но все внутри у него дрожало от радости.

Они вышли из командного пункта, когда уже совсем рассвело. Погода как будто действительно улучшалась.

Синева неба стала гуще. Но полоса леса в дальнем конце аэродрома все еще расплывалась в тумане.

Самолеты стояли на самой опушке, под густыми лапами ели, в низких бревенчатых рефугах, засыпанных сверху снегом. С воздуха заметить их было невозможно. Это истребители «И-16», коротенькие, толстомордые, как бульдоги. Летчики называли их «ишаками» и очень любили, хотя в советской истребительной авиации к первому году войны было уже немало более новых и более быстрых машин. «Ишак» - поворотливый, увертливый, хорошо приспособлен и для сложного маневра в бою, и для штурмовок.

Взметая вихри колючего снега, шесть самолетов, переваливаясь, выползли из рефуг и построились в ряд на линейке. Летчики, сидя в кабинах, опробовали моторы. Потом машины поползли к старту. Рядом с каждым самолетом шел его техник, «хозяин» машины, держась правой рукой за левое крыло. На старте построились опять.

Ракета на взлет. Над белым полем аэродрома повис комок лилового дыма. Техник выбил ногой колодки из-под лыж машины Рассохина, и она рванулась вперед. Перебежав через аэродром, самолет, распластавшись, повис над лесом и затем круто свернул влево.

Никритин взлетел вторым. Он мчался по аэродрому, набирая скорость. Лес вырастал перед ним, приближаясь: Никритин уже видел каждую отдельную ель. Казалось, он сейчас врежется в эти густые, широколапые елки; но мгновение - и он уже над ними.

Рассохин делал широкий круг над аэродромом. Никритин пошел по прямой, чтобы догнать его.

Взлетел Алексеев.

Никритин пристроился к Рассохину справа, Алексеев - слева.

Они сделали второй круг, чтобы дать взлететь и построиться звену Костина. Потом Рассохин повел всю шестерку к озеру.

Никритин не летал несколько дней и теперь с особой остротой испытывал то радостное, чуть-чуть тревожное возбуждение, которое всегда охватывало его в начале полета. Рассохин не набирал высоты, вел их сегодня низко, над самым лесом. Так они обычно ходили на штурмовки - как можно ниже, чтобы их не заметили издали.

Каждые сорок секунд Никритин оборачивался и оглядывал хвост своего самолета. Он делал это автоматически, по привычке, чтобы не дать «Мессершмиттам» атаковать внезапно. «В воздушном бою побеждает тот, кто первый заметит противника», - учил их Рассохин, и Никритин знал, что это действительно так.

Но сейчас, оглядываясь, он видел только самолеты своих товарищей. Ему, летящему вместе с ними, они казались неподвижными. Одинаково были раскрашены машины, одинаковые были шлемы на головах у летчиков, но Никритин без всякого труда узнавал каждого - по приметам, известным ему одному, о которых он даже не умел бы рассказать. Он слишком сжился со своими

товарищами, слишком много с ними летал и узнавал каждого в воздухе по почти неуловимым признакам – по манере вести машину, «по походке», как говорят летчики, «по почерку».

Они вышли на озеро и пошли надо льдом. Кое-где все еще чернели и дымились полыньи. Приближение дороги Никритин заметил по черным круглым лункам во льду (сюда падали немецкие снаряды) да еще по маленьким кучкам людей в белых халатах. Это были сторожевые посты охранения. Никритин подумал о том, как, должно быть, холодно этим людям стоять далеко от берегов, на ровном льду. Им негде даже укрыться от ветра.

Как изменилась дорога со вчерашнего дня, когда он проехал по ней на мотоцикле! За ночь ее расчистили от снега. Грузовики шли в оба конца непрерывным потоком: к городу – с ящиками, с мешками, а из города – с людьми.

Самолеты подошли к южному берегу озера, пересекли береговую черту, замерзший Ладожский канал и пошли низко над лесом. Лес был дрянной, болотистый – осинник, ольшанник, и сквозь голые прутья сверху можно было разглядеть то засыпанную снегом красноармейскую землянку, то бойца в тулупе, глядящего вверх, то траншею, то ряд гранитных надолб, то походную кухню, выкрашенную в белый цвет. В эту редкую болотистую поросль вклинивались длинные языки елового леса, похожие сверху на темно-зеленый бархат. А что скрывалось там, под этим бархатом, разглядеть было невозможно. В одном месте бархатный полог этот несколько вздымался кверху, и Никритин догадался, что это и есть холм, который они на своих картах отметили в квадрате «В».

Рассохин внезапно вырвался вперед и круто полез вверх. Остальные самолеты отстали от него и широким кругом пошли в стороне от холма, чтобы их не заметили. Самолет Рассохина лез все выше и выше, оставляя за собой в морозном воздухе тонкий белый след. С холма потянулись к нему еле видные при солнечном свете перекрещивающиеся нити траассирующих пуль. Облачка зенитных разрывов, сразу по три, возникали то впереди него, то сзади. Как раз этого Рассохин и добивался. Он хотел узнать, где расположены огневые точки немцев.

Самолет Рассохина, уменьшаясь в вышине, блестел на солнце. Когда пулеметные струи или разрывы снарядов слишком приближались к нему, он внезапно делал прыжок в сторону. Но не уходил. Можно было подумать, что он растерялся и от страха мечется на одном месте. Порой он срывался вниз, переворачивался, и тогда казалось, что он подбит, падает. Но, перевернувшись, он снова выпрямлялся и снова лез вверх.

Все это продолжалось минуты три, не больше. А затем Рассохин, которому как бы наскучила эта игра, пошел, не обращая никакого внимания на пулеметные струи, прочь от холма, вниз.

Немцы потеряли его из виду. Он вернулся к своей эскадрилье и повел ее на штурмовку.

Эскадрилья неслась над самыми верхушками леса.

Никритин мельком видел под собой красноармейцев, ползущих по снегу к холму, перетаскивающих пулеметы. Они готовились после штурмовки пойти в атаку. Холм стремительно приближался.

Летчики низко прошли над ним и прочесали его огнем своих пулеметов от края и до края. Немцы не ожидали удара, и ни один выстрел не раздался в ответ. Между елями на склоне Никритин увидел ряды траншей и солдат, стоявших в строю на снегу. Когда он, нажав на гашетку, прошел над солдатами, они повалились, как кегли. Наконец зенитки начали беспорядочно бить в небо. Но холм был уже позади.

Так кончился первый заход. Теперь уже подойти к холму скрытно было невозможно, и следующие заходы они делали сверху, с пикирования. Огромное

колесо в тысячу метров высотой крутилось над холмом. Один за другим низвергались они с высоты между струями трассирующих пуль и дымками разрывов. Один за другим уходили вверх, чтобы оттуда снова ринуться вниз. В этом кружении самыми опасными были мгновения выхода из пике, подъема, когда скорость гасла и самолет медленно полз на высоту, подставляя свой хвост зениткам.

Никритин мчался вниз вслед за Рассохиным. Никритина с такой силой прижимало к спинке, что казалось, грудная клетка не выдержит и сплющится. Рассохин начал стрелять только в самом низу, и Никритин стрелял, достигнув как раз той высоты, с которой стрелял Рассохин. Рассохин выходил из пике над самыми вершинами елок - и Никритин выводил свой самолет из пике как раз в том же месте. Подымаясь, Никритин видел, как товарищи неслись вниз по его следу.

Они все начинали стрелять и выходили из пике на той самой высоте, где стрелял и выходил из пике Рассохин, все, кроме одного. Один самолет начал стрелять раньше и выходил из пике значительно выше, чем остальные. Он лез вверх, когда между ним и елками было еще метров полтора. Никритин раза два заметил это.

«Кто? - подумал он. И сразу узнал. - Алексеев! Вот странно...»

Но тут же забыл об этом. Они шли на холм в последнюю атаку. Рассохин пикировал прямо на зенитную батарею, досаждавшую им все время. Батарея была ему навстречу, но он несся слишком быстро, и зенитчики не успевали менять высоту прицела. Он полил батарею из пулеметов, и она сразу замолчала.

Никритин тоже дал очередь по батарее, но тут же заметил в стороне, на южном склоне холма, огромный трактор-тягач, который стаскивал в лощину большое орудие. Вокруг двигались люди, прячась под елками. Никритин развернулся и ударил по тягачу, по орудью и по людям.

Рассохин уже ушел вперед, мчась низко, над лесом, - и Никритину пришлось его догонять. Внизу он видел, как красноармейцы выбегали из ольшанника и, пригибаясь, устремлялись к холму. И вдруг несколько легких толчков, удар по груди, по руке, по плечу - и словно крупный дождь пробарабанил по самолету.

Никритин даже не сразу понял, что ранен. Ему показалось, что пулеметная очередь, настигшая его сзади, с холма, скользнула только по плоскостям. Мотор гудел по-прежнему ровно, самолет шел плавно и верно. Никритин в первые мгновенья боли не чувствовал. Но правая рука его сама собой свалилась со штурвала, и он больше уже не мог ее поднять.

Ведя самолет левой рукой, Никритин догнал Рассохина и пристроился к нему справа, на прежнее свое место. Он хотел, чтобы Рассохин ничего не заметил.

Всё пустяки! Самолет можно вести и одной левой рукой, но Никритину было трудно дышать. Болела грудь. Он глотал воздух, но чувствовал, что легкие не наполнялись. Грудь была пробита.

Они шли над озером, над самым льдом. Впереди синел в тумане берег, но Никритин иногда переставал видеть и берег, и лед. Все пропадало, все заволакивалось. Очнувшись, он жадно хватал ртом воздух. Слева от него висел самолет Рассохина, всё на одном и том же расстоянии, то слегка повышаясь, то опускаясь. Лишь бы Рассохин ничего не заметил!..

Снег на озере, озаренный солнцем, блестел слишком ярко, резал глаза до боли. Никритину вдруг захотелось закрыть глаза, отпустить ручку штурвала и ждать, когда самолет врежется в этот снег и лед. Тогда само собой прекратится это нестерпимое усилие, тогда ничего уже не нужно будет делать. Но нельзя, нельзя: Рассохин заметит. И самолет этот не его, а Илейки Рябушкина. Он должен привести самолет в исправности.

Где же озеро? Никритин удивился, поняв, что он уже не над озером, а над

аэродромом. Вот бугор с наблюдателем на вершине. Нужно идти на посадку.

Рассохин непременно заметит, что он идет на посадку, не выпустив шасси! И все заметят. Но что поделаешь, он не в силах выпустить шасси. Придется посадить самолет на брюхо. Тише... Тише... Нужно спланировать как можно медленнее. Если бы снег был потолще!

Удар. Ничего, ничего, самолет Рябушкина цел. Только винт погнулся, но это пустяки, ремонт потребуется незначительный.

Никритин увидел людей, бегущих к нему по аэродрому, и потерял сознание.

Вначале она очень много спала. У нее сильно болели ноги, но даже от боли она не просыпалась. Даже когда она на несколько минут открывала глаза, пробуждение не было полным, она все видела как сквозь сон.

Утром, после того как ее посетили два летчика, она сразу заснула. Очнулась при ярком свете дня и увидела возле своей койки толстую девушку в белом халате, с тарелкой и ложкой в руках.

Толстая девушка угрюмо совала ей в рот ложку, и она глотала горячий суп. Он обжигал ей нёбо, но она ела с наслаждением. Она была голодна, давно голодна, так давно, что уже привыкла не думать о голоде. Она приподнялась на локтях, чтобы удобнее было есть. Нюра подложила ей под спину подушку и после каждых двух-трех ложек супа подносила к ее рту ломоть белого хлеба.

- Ты жуй, жуй хорошенько, - говорила толстая девушка. - Нечего кусками глотать.

После супа ей дали вареной лапши.

- Эх ты глотаешь! - сказала толстая девушка, когда лапша была съедена. - Я бы тебе еще дала, да нельзя: объешься с непривычки, а потом худо будет.

Поев, девушка, найденная на льду, опустила голову на подушку и начала дремать. Но толстая девушка не уходила. Она стояла возле койки и стучала ногами о пол.

- Ты спишь? - спросила она.

- Нет.

- А как тебя зовут?

- Люся.

Толстая Нюра опять громко переступила с ноги на ногу.

- Ты его давно знаешь? - спросила она после некоторого колебания.

- Кого?

- Никритина.

- Какого Никритина?

- Летчика.

- Летчика?..

- Который тебя нашел на льду.

- Он меня нашел на льду?

Она помнила, как шла через озеро. Но что было потом? Она не помнила, что было потом.

- Он сегодня утром приходил на тебя посмотреть, - сказала Нюра.

- Их было двое.

- Тот, который сзади стоял, Никритин. Ты его давно знаешь?

Но Люся уже закрыла глаза. «Он нашел меня на льду и привез сюда, - думала она, засыпая. - Это очень важно. Но я подумаю об этом потом».

В следующий раз она проснулась ночью. Маленькая керосиновая лампа с мутным стеклом стояла на столе, бросая на стены тусклый свет. На табуретке возле своей койки Люся нашла тарелку каши и кусок хлеба. Каша была холодная, но показалась ей удивительно вкусной. Люся так увлеклась едой, что, только кончив есть, заметила странный звук, наполнявший комнату, и насторожилась.

Звук повторялся – хриплый, длительный, похожий то на вой, то на лай. Она оглядела комнату и увидела, что на соседней койке лежит человек.

Больной тяжело дышал, и она слышала шумное его дыхание. При каждом вдохе голова его, лежавшая на подушке, откидывалась назад, а тело под одеялом судорожно корчилось. Иногда он внезапно переставал дышать, и тогда наступала тишина, которая была еще страшнее его дыхания. Люся напряженно вслушивалась в эту тишину, ждала, приходила в отчаяние. Но дыхание возобновлялось – медленное, скрипучее, и голова на подушке откидывалась, и тело под одеялом опять начинало корчиться.

Люся села, чтобы лучше разглядеть лицо этого человека. И сразу узнала: это был тот летчик, который приходил к ней утром. Тот самый, который нашел ее на льду, Никритин... Быть может, тот, который... Ох! Люся вздрогнула при этой мысли.

Всю минувшую осень, страшную ленинградскую осень сорок первого года, искала она одного летчика и не могла найти. Она не знала его имени, не знала, где он служит, а между тем это был для нее самый дорогой человек на всем свете. Она даже лица его почти не знала. Черной августовской ночью шли они вдвоем, держась за руки, по огромному картофельному полю, и вдруг снаряд взорвался неподалеку, и при вспышке она на мгновение увидела его кожаный шлем, прямой нос, глаза, показавшиеся ей темными. Узнала бы она его, если бы увидела? Нет, не узнала бы... Вот если бы он сейчас хоть бы одно слово сказал, если бы она услышала его голос... По голосу она узнала бы его сразу.

Лицо человека, лежавшего на соседней койке, она видела хорошо. Белое, неестественно белое лицо. Такими не бывают лица у живых людей. Глаза он закрыл. Глазные впадины казались огромными. Рот, с почти черными тонкими губами, был широко раскрыт и жадно ловил воздух. Нос прямой, крупный, с еле заметной горбинкой.

Этот человек нашел ее на льду, пожалел, привез сюда, и она будет жить. А он? Как страшно он дышит. Неужели он узнал ее там, на льду, узнал и потому привез? Или не узнал? Тогда, той августовской ночью, он ведь тоже видел ее только в темноте. Не узнал, а просто пожалел незнакомую, решил спасти и привез? Или это совсем не тот летчик, с которым они шли по картофельному полю, а другой? Как узнать: тот или не тот? Неужели она никогда не узнает? Никогда...

Ох, как тихо стало... Почему он больше не дышит? Она жадно прислушивалась к тишине, сидя в постели. Ну, сколько же можно не дышать! Какая тишина... Неужели никого нет в этом доме? Хоть бы мышь пискнула. Закричать? Позвать? Она решила сосчитать до пятнадцати. Если за это время он не начнет дышать, она крикнет. Раз, два, три, четыре... Нет, не дышит, не дышит... девять, десять, одиннадцать... Она бы жизнь отдала, лишь бы еще раз услышать это медленное, отрывистое дыхание... Четырнадцать, пятнадцать...

– Сюда! Пожалуйста, сюда! – крикнула она срывающимся, чужим голосом.

Не успела она замолкнуть, как человек на койке снова начал дышать тяжело и громко. За стенкой что-то скрипнуло, раздались шаги, и в комнату вошла толстая девушка в халате.

– Ты чего кричишь? – спросила она, свирепо взглянув на Люсю. – Доктора разбудишь.

– Он перестал дышать...

Толстая девушка прислушалась. Человек на койке опять хрипло и громко дышал. Она нагнулась над ним, поправила одеяло. Потом выпрямилась и повернулась к Люсе.

- Боишься? - спросила она презрительно.

- Не боюсь, а...

- Он тебя вез, не боялся.

- Он умрет?

- А тебе что? Тебе не все ль равно? Он привез тебя, и ладно.

Люся взглянула ей в лицо и вдруг заметила, что по щекам толстой девушки бегут слезы. И сейчас же слезы брызнули из Люсиных глаз. Она схватила толстую девушку за руку, притянула к себе, посадила на свою койку. Они сидели рядом, прижавшись друг к другу мокрыми от слез щеками.

Никритина хоронили в мутный, нелетный день на вершине лысого бугра, над аэродромом. Место это выбрали без колебаний: все-таки поближе к небу.

Из окна санчасти сквозь падающий снежок Люся видела, как медленно проехала по деревенской улице полуторатонка с красным гробом. За машиной шли летчики, техники, краснофлотцы в строю, девушки из столовой. Полуторатонка свернула на аэродром и скрылась за избами.

Люся уже бродила по комнатам, хотя у нее все еще болели ноги. Доктор Липовец дал ей синий халат и палочку. Но палочкой она почти уже не пользовалась.

Когда полуторатонка с гробом скрылась за избами, Люся вышла из палаты и вошла в приемный покой. Здесь было пусто. Липовец и толстая Нюра ушли на похороны. Люся торопливо осмотрела комнату. За белым шкафом висело ее пальто и поверх него шерстяной платок. В углу стояли валенки.

Она быстро оделась и вышла, опираясь на палочку. Снег таял у нее на лице. Она шла медленно, прихрамывая, но не от боли, а от того, что повязки на ногах мешали идти. Она вышла на аэродром и пошла по краю, вдоль елок, к бугру. От свежего воздуха у нее слегка кружилась голова. Сквозь сетку падающего снега она видела, как полуторатонка остановилась на склоне бугра, у входа на командный пункт. Машина долго стояла там, окруженная людьми, и Люся успела пройти больше половины пути, прежде чем гроб сняли с машины и понесли на руках на вершину бугра.

Она очень торопилась, ей хотелось прийти раньше, чем все кончится. Подъем был крут и тяжел. Она лезла вверх по склону, цепляясь руками за прутья кустов. И вот, наконец, она наверху.

Все расступались, все молча давали ей дорогу. Казалось, у нее здесь были какие-то особые права, признаваемые всеми: ее привез Никритин. Она шла все вперед, пока не увидела яму и комья глины на белом снегу.

Раскрытый гроб стоял на краю могилы. Никритин лежал суровый и спокойный. На нем был новый китель темно-синего сукна с начищенными золотыми пуговицами и очень яркими нашивками на рукавах. Снег падал на его лоб и не таял.

Видимо, речи были уже произнесены. Все ждали, когда капитан Рассохин отдаст приказание закрыть гроб и опустить в могилу. Но Рассохин почему-то медлил. Он стоял над гробом, держа свой шлем в руке, и его маленькие глазки с рыжими ресницами зорко оглядывали всех.

- Что мы еще скажем ему на прощанье? - спросил Рассохин.

Летчики молчали, опустив обнаженные головы. И вдруг Рябушкин выкрикнул неожиданно тонким голосом:

- Коля, мы отомстим за тебя!

- Клянемся, - сказал Рассохин.

- Клянемся! Клянемся! - повторили летчики. Тогда Рассохин опустился на колени и поцеловал Никритина в крепко сомкнутые губы.

Потом посторонился и уступил место комиссару Ермакову. За ним подошли Костин, Чепенков, Алексеев. Рябушкин поцеловал последним.

Краснофлотец, державший в руках длинную дощатую крышку, обитую кумачом, хотел уже закрыть гроб, как вдруг Рассохин увидел Люсю. Вероятно, он что-то заметил в ее глазах. Легким движением руки он остановил краснофлотца.

Люся опустилась на колени, нагнулась и поцеловала Никритина в холодные губы.

Когда спускались с бугра, Люся отстала от всех. Ермаков остановился и подождал ее. Они пошли рядом.

- Как ваше здоровье? - спросил он.

- Спасибо. Я уже почти здорова.

- У вас там есть родные?

- Где?

- На Большой земле? За озером?

- Нету.

- А здесь? В Ленинграде?

- Был братишка... маленький...

- Где же он?

- Пропал.

- Пропал?

- Пропал, пока я рыла окопы. Целый месяц его искала и не нашла.

- А зачем вы пошли через озеро?

- Так... До снега я рыла окопы, а потом ослабела. Ничего не могла делать. Только лежать. Один шофер повез меня на машине до озера. А дальше я сама пошла.

- Что же вы теперь собираетесь делать?

- Не знаю... Уйду куда-нибудь...

- Куда?

- Не знаю... За озеро...

- А что вы делали до войны?

- Работала в библиотеке.

Они поравнялись с санчастью. Ермаков довел ее до крыльца.

- Вы не торопитесь, - сказал он, прощаясь с ней за руку. - Поправляйтесь себе помаленьку. Никуда вам уходить не надо. Я что-нибудь надумаю...

Василий Степанович Тарараксин теперь редко посещал государственный комиссионный магазин, в котором он служил заместителем заведующего. На дверях магазина уже давно висела бумажонка с надписью: «Закрыт по случаю воздушной тревоги». Впрочем, в промежутках между воздушными тревогами магазин тоже не открывался. Теперь было не до торговли старой мебелью.

Василий Степанович много времени проводил на улице. Ходил он не спеша, степенно, привлекая внимание прохожих своим ростом, тростью, шубой, бобровой шапкой.

Каждый день он несколько часов проводил в очереди за хлебом. Женщины, стоявшие вместе с ним в очереди, принимали его за профессора. Шепотом говорили друг другу, что это крупный ученый, что его будто бы собирались увезти из города на самолете, что таких людей, как он, нужно особенно беречь и что он уезжать отказался наотрез: «Я, мол, свой родимый город в беде оставлять не хочу, другие ленинградцы терпят, вытерплю и я». Трудно сказать, слышал Василий Степанович эти разговоры или нет. По всей вероятности, слышал, но никогда не подтверждал их ни единым словом, хотя и не опровергал.

В очереди он держал себя со всеми просто и охотно беседовал. Все знали, что у него три карточки: одна – его собственная, другая – племянницы-сиротки, которую он взял к себе на воспитание, и третья – соседа, студента Аркадия Сенечкина, молодого человека, больного туберкулезом. О своем соседе он говорил особенно охотно. Все узнали, что живут они рядом, через площадку, и познакомились случайно, на лестнице. У Аркадия Сенечкина туберкулез начался еще до войны. Теперь Сенечкин, наверное, скоро умрет. Он уже не в силах выходить на улицу, и вот Василий Степанович сам стоит за него в очереди.

– А какой способный молодой человек! – вздыхал Василий Степанович. – Какие прекрасные стихи пишет!

Василия Степановича в очереди считали очень добрым человеком. Особенно убедились в его доброте и отзывчивости после того, как он на глазах у всех отдал свой дневной хлебный паек незнакомой женщине, упавшей от истощения посреди улицы. Об этом случае узнал весь район, и когда Василий Степанович проходил по своему кварталу, стуча тростью и блестя чисто вымытыми калошами, встречные приветливо поглядывали на него.

К Сенечкину захаживал он часто, иногда по нескольку раз в сутки. Сенечкин даже отдал ему ключ от своей квартиры, чтобы не ходить отворять.

В этот день Василий Степанович зашел к нему перед вечером.

– Это я, друг мой, я! – сказал он, открыв дверь ключом. Через холодную прихожую он вошел в узенькую комнату, окно которой было завешено одеялом. – Вы не спите? Я не разбудил вас?

При свете крохотного огонька на конце фитиля, засунутого в аптечную склянку, он видел лежавшего на кровати молодого человека с длинным заострившимся носом и спутанными светлыми, давно не стриженными волосами.

– Нет. Я почти не сплю последнее время, – сказал Сенечкин. – Почему вы теперь приходите ко мне только в сумерках или в темноте? Прошлый раз вы были у меня, по-моему, рано-рано утром, задолго до рассвета.

– Да ведь теперь почти все время темно, дни коротки, – сказал Василий Степанович. – Вот и выходит, что я бываю у вас только в темноте. Впрочем, я за последнее время тоже почти не сплю по ночам. Потерял ощущение времени. Возможно, я действительно иногда захожу к вам глухой ночью. Вот, получайте ваш хлеб. Не благодарите, друг мой, не благодарите. Это так естественно.

Он бережно протянул Сенечкину завернутый в обрывок газеты ломтик хлеба – сто двадцать пять граммов. Сенечкин приподнялся в постели и протянул дрожащую руку. Это была страшная рука – длинная кость, обтянутая кожей, с утолщениями в суставах. Он взял ломтик, развернул и посмотрел на него. Потом вытащил из-под подушки перочинный нож и разрезал ломтик у себя на ладони на две совершенно равные части. Одну он сунул в рот, а другую, видимо, собирался отложить про запас. Но после короткой внутренней борьбы сунул в рот и вторую половину. Он ничего не ел со вчерашнего дня.

– Я принес вам немного картофельных очистков, – сказал Василий Степанович, подавая пакетик с вареной картофельной шелухой.

– Василий Степанович! Мне неловко... Вы себя обижаете...

– Бросьте, друг мой, бросьте, кушайте на здоровье. Мне приятнее поделиться с вами, чем съесть все самому. Врачи утверждают, что картофельная шелуха полезнее самой картошки. Ешьте и не смущайтесь...

Сенечкин с наслаждением глотал картофельную шелуху. Василий Степанович снял шубу, положил ее в кресло и присел на край кровати.

– У вас сегодня почти тепло. – Василий Степанович взглянул на железную печь, в черном раскрытом зеве которой слабо тлели листы бумаги. Эта печурка и скляночка с фитильком были заботливо принесены сюда осенью Василием Степановичем. – Что я вижу?! – воскликнул он, заметив опустевшую книжную полку. – Вы начали жечь свои книги!

– Да, жгу, – сказал Сенечкин. – Просматриваю в последний раз, читаю самое любимое и швыряю в печку. Записи университетских лекций, учебники спалил уже давно. Я сжег старые журналы, романы, а книги стихов оставил напоследок. Я уже не могу ходить, Василий Степанович... Ждать осталось недолго. Я так и рассчитал, чтобы тепла и стихов мне хватило как раз до конца.

Два розовых пятнышка появились на его скулах. Свойственное чахоточным лихорадочное возбуждение внезапно овладело им. Он словно опьянел от еды, от разговора.

– Вы, кажется, новые стихи написали?

– Написал.

– А ну, прочтите. Я люблю ваши стихи.

– Это о Тихом океане, – сказал Сенечкин, возбуждаясь еще больше. – Какое прекрасное сочетание слов – Тихий океан! Я лежал и вдруг стал думать о Тихом океане. Какой он огромный, глубокий и теплый. Когда я был мальчиком, я много читал о путешествиях по Тихому океану – о капитане Куке, о Лаперузе. Так хотите послушать?

– Читайте, друг мой.

Сенечкин поднес к глазам лист бумаги.

Не видал я тех дальних, тех солнечных стран, Жил всегда среди овсов и гречихи, Но всю юность мне снился ночной океан, Что зовется Великий и Тихий. Гаснет розовый свет неземной чистоты, Сладко плечи в траве отдыхают, И вверху – нет, не звезды, а будто цветы На ветвях этих пальм расцветают. Чуть дрожат, наклоняясь, и шепчут стебли: Земляной нету мягче постели. А за бухтой во мгле, в невозможной дали И звенит, и поет укулеле. Не увижу я дальних и солнечных стран, Проживу среди овсов и гречихи, Но в конце мне приснится другой океан, Он такой же великий и тихий. Гаснет розовый свет неземной чистоты, Умолкает прибой говорливый, И уже надо мной расцветают цветы, И, как пальмы, качаются ивы. Вот их снежные корни меня оплели, Земляной нету мягче постели. Тишина, тишина. В невозможной

дали Не звенит, не поет укулеле.

- Укулеле - это, кажется, музыкальный инструмент тихоокеанских дикарей? - спросил Василий Степанович.

- Да. Полинезийцев.

- Хорошие стихи. Странные стихи. Из вас, друг мой, мог бы выйти настоящий поэт, если бы, конечно...

- Если бы у меня что-нибудь было впереди?

- Да, - сказал Василий Степанович. - Хорошие стихи. Вас как будто не страшит смерть. Тишина, покой... Ну что ж, я думаю, что смерть от голода не всегда страшна. Человек простоит весь день в очереди на морозе, получит свои сто двадцать пять граммов хлеба и пойдет домой, на шестой этаж, в свою комнату. Дома он растопит «буржуйку» и сядет перед нею в кресло. Ему станет тепло, он улыбнется, задремлет и во сне незаметно умрет. «Буржуйка» погаснет, остынет, пройдут дни, недели, а он будет сидеть в опустевшей квартире перед потухшей «буржуйкой» и улыбаться...

- Ну уж нет, не о такой смерти я думаю, - сказал Сенечкин.

- О какой же?

- Я хочу так умереть, чтобы хоть сколько-нибудь досадить своей смертью нашим убийцам.

- Ах вот оно что! И вы тоже? - засмеялся Василий Степанович.

- Да, и я тоже. А почему бы мне этого не хотеть? Только потому, что я больной и меня не взяли в армию?

- Нет, друг мой, я вовсе не смеюсь над вами. Ваши чувства делают вам честь, - миролюбиво заявил Василий Степанович. - Удивительно, до чего в этом городе всем хочется драться. На днях был у меня в гостях мальчик из детского дома; ему лет тринадцать, но на вид не больше десяти. Оказывается, он тоже воюет, ловит ракетчиков! Представьте, затащил меня во время бомбежки на чердак, рассказал мне совершенно неправдоподобную историю о том, как он выследил одного ракетчика...

- Неправдоподобную? А вы думаете, что ракетчиков не бывает?

- Не знаю. Все о них говорят, но я, признаться, склонен считать их плодом фантазии. В такие трагические времена воображение, знаете, разыгрывается. Впрочем, может быть, они и существуют. Но уж если ракетчики существуют, люди они опытные, и не тринадцатилетним мальчикам их поймать... А-а, вот где он, ваш кот! Цел еще! - воскликнул Василий Степанович, внезапно заметив черного кота, лежавшего за печуркой. - В самый темный угол забился. А я смотрю, что это за два уголька там блестят...

Он протянул руку, чтобы погладить кота, но кот отскочил, прыгнул на подоконник, выгнул спину и поднял хвост трубой.

- Чего это он у вас такой пугливый? - спросил Василий Степанович.

- Он совсем одичал за последнее время, - сказал Сенечкин. - От голода. Никак не дается в руки. Я его иногда выпускаю побродить по крышам, чтобы он сам поискал себе еды. Слушайте, вы человек умный, - продолжал Сенечкин в необычайном волнении. - Скажите, устоит наш город?

- Вот уж ничего не могу сказать вам, друг мой. Я человек невоенный. Это вы у военного специалиста спросите. Город в осаде, и мне одно ясно: если будет стоять, так вымрет.

- Да разве смерть страшнее всего? - сказал Сенечкин, торопясь и дрожа. - Быть может, оттого, что я давно уже болен, я привык к мысли о смерти и не боюсь ее. И никто в городе не боится смерти. Это удивительно, но это так. Ну что ж, если надо, умрем. Но город будет стоять. Позор страшнее смерти...

- Вы так думаете?

- Да, я так думаю, - сказал Сенечкин. - А вы разве не так думаете? Уверен, что и вы думаете так. И самое замечательное то, что у нас в городе думают так все, все до единого человека!

Василий Степанович давно уже не сидел на кровати, а стоял возле двери, которая вела в соседнюю комнату. Это была нежилая холодная комната. В ней никогда не зажигали огня и никогда поэтому не завешивали на ночь окон. Василий Степанович нетерпеливо нажимал дверную ручку и, видимо, спешил окончить разговор.

- Вы только через окно поглядите или опять полезете по карнизу на соседнюю крышу? - спросил Сенечкин.

- Пожалуй, вылезу на карниз, - сказал Василий Степанович. - Вы ведь знаете: для меня это удовольствие.

- Как вы не боитесь! - воскликнул Сенечкин. - Вчера, едва вы вернулись, началась бомбежка. Если бы вы задержались еще на минутку, вас стряхнуло бы с карниза взрывной волной. Чистый случай! И вообще не понимаю, как вы не боитесь высоты. Я, например, очень боюсь высоты. Смерти не боюсь, а высоты боюсь... Что ж вы шубы не надели? Вы так простудитесь. Накиньте хоть мое пальто, оно в той комнате, у окна лежит...

Но Василий Степанович уже закрыл за собою дверь соседней комнаты. Сенечкин вздохнул и вытянулся под одеялом. Розовые пятнышки на скулах пропали, возбуждение покинуло его, лицо побледнело. Он чувствовал себя слабым, усталым и быстро заснул.

Библиотеку устроили в маленькой комнате рядом с санчастью. Вход в санчасть был из сеней налево, а в библиотеку – направо. Люся начала с того, что вымыла пол, сняла с потолка паутину. Ей принесли койку, стол, шкаф, и места стало совсем мало: чтобы добраться до шкафа, нужно было боком протискиваться между койкой и печкой. Но не теснота смущала ее, а то, что в комнате было темно даже в середине дня.

Она вымыла оконное стекло, и сейчас же комната наполнилась голубоватым зимним светом. За окном оказался маленький дворик, заметенный снегом, без единой тропки. Заиндевелые прутья ракиты лезли в стекло. Синица сидела на раките, перепархивала с ветки на ветку, отряхивая иней и заглядывая в комнату одним глазком.

Печку топили жарко, и Люсю огорчало только одно: в библиотеке почти не было книг. Ермаков обещал послать ее в город за книгами, но все откладывал эту командировку со дня на день, очевидно не считая Люсю еще вполне здоровой.

А Люся между тем уж поправилась. Так, по крайней мере, ей самой казалось. От болезни осталось только какое-то странное душевное оцепенение. Все, что происходило вокруг, она видела словно во сне. Вот-вот она очнется и снова возвратится к ней та осенняя жизнь, со всеми ее событиями – рытьем окопов, потерей брата, бесплодными поисками человека, с которым однажды ночью шла через картофельное поле, голодом, безвыходной тоской, тяжелой дорогой по льду Ладожского озера...

А пока она жила, как жилось, ни к чему не стремилась и почти механически выполняла несложные обязанности, которые выпали на ее долю. Часто она засыпала среди дня, сидя на стуле в своей комнатенке. Ее будил гул самолета, пролетавшего над самой крышей. Она вздрагивала и открывала глаза.

Однако при всей своей сонливости, при всем внутреннем оцепенении Люся не могла не заметить той особой приветливости и ласковости, с которой обращались к ней все окружающие. В этой ласковости было что-то сдержанное, грустное, что-то относящееся не к ней лично, а к тому, что она – та долго голодавшая девушка из Ленинграда, которую спас летчик Никритин.

Люся понимала, что в глазах всех этих людей она неразрывно связана с ним и что, глядя на нее, все вспоминают Никритина. Он как бы завещал ее им, и в память о нем они старались обращаться с ней как можно бережнее.

С новыми людьми Люся знакомилась постепенно. Первый летчик, с которым она познакомилась после своего выздоровления, был Рябушкин. Он зашел к ней как-то утром, в самый разгар полетов, и она удивилась, почему он не на аэродроме, но, конечно, не решилась спросить. Он поздоровался и неуклюже стащил с головы шлем. Светлые его волосы, растрепанные шлемом, торчали во все стороны. Он явно робел перед нею, и курносое круглое веснушчатое лицо его ей понравилось.

Он спросил Люсю, нет ли в библиотеке романов Дюма «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон», и объяснил, что романы эти – продолжение «Трех мушкетеров». Но в библиотеке ничего пока не было, кроме старых брошюр. Рябушкин мял в руках шлем, ему, видимо, не хотелось уходить. Он обрадовался, когда Люся взяла тетрадку и стала записывать названия романов Дюма, чтобы купить их в городе (все-таки был предлог постоять еще немного!). Когда она записала, он вытащил из кармана комбинезона толстую книгу и сказал, что дарит ее библиотеке. Это были «Три мушкетера». Люся поблагодарила его. Он сел на стул и рассказал ей все: как его отстранили от полетов и как теперь он каждое утро приходит на аэродром в надежде, что Рассохин сжалится и прикажет ему сесть в самолет. Но Рассохин глядит на него невидящими глазами, и он возвращается в деревню и весь день слоняется без дела, не зная, чем занять себя. Люся подивилась его горю и пожалела его.

– А вы заходите ко мне почаще, – сказала она. И он стал заходить к ней по нескольку раз в день, сидел долго, колот для нее дрова, топил печку, помогал разбирать письма.

В эти первые дни служебные обязанности Люси сводились главным образом к возне с письмами. Все письма, адресованные в эскадрилью, поступали прежде всего в библиотеку. Она аккуратно, в алфавитном порядке раскладывала на столе эти замусоленные треугольнички со штемпелями. А по вечерам, после работы, за письмами приходили летчики, техники, мотористы.

Дольше всех в библиотеке задерживались Костин и Алексеев. Костин, высокий, тонкий, туго подпоясанный, был очень хорош в своем синем комбинезоне. Входя в библиотеку, он расстегивал комбинезон. На кителе его блестели два ордена. С начала войны Костин сбил уже девять вражеских самолетов. Его звали Георгием. В сенях перед библиотекой висел номер выпущенного Карякиным «боевого листка», в котором был нарисован дружеский шарж: Костин в виде Георгия Победоносца пронзает копьем «Юнкерс» с драконьей головой. Но товарищи называли его просто Жора. Несмотря на свои двадцать четыре года, Костин сильно лысел и старательно зачесывал назад свои редкие, прямые светлые волосы. У него были самоуверенные серые глаза, и он поглядывал на Люсю приветливо и спокойно.

Если Алексеев, зайдя в библиотеку, заставал в ней Костина, он неизменно ухмылялся и говорил:

– А, ты здесь! Так-так...

И от этой усмешки, от этих «так, так» Люсе почему-то становилось не по себе. Всякий приход Алексеева немедленно сопровождался стуком и топаньем за стенкой, в санчасти: это толстая Нюра волновалась, переступая с ноги на ногу. Но Алексеев не обращал на ее топот никакого внимания. Он садился на стул или на край койки и принимался насмешливо разглядывать Люсю с головы до ног, теребя и приглаживая свои бачки. Говорил он мало, а больше слушал, что рассказывал Костин.

А Костин обычно рассказывал о боях с «Мессершмиттами». Слушая Костина, нужно было следить за движениями его красивых рук с длинными, тонкими пальцами. Тот, кто не следил бы за его руками, пожалуй, не понял бы рассказа. Правой рукой он изображал свой самолет, а левой «Мессершмитт». С необыкновенной точностью и наглядностью показывал он руками все движения своего самолета и «Мессершмитта» во время боя. Больше всего он ценил мастерство, находчивость, расчет, и казалось, будто воздушный бой для него был чем-то вроде игры на бильярде. Взмахами рук он показывал, каким приемом нужно загонять «Мессершмитт» вниз, к деревьям, и там, связав маневр противника близостью к земле, бить его; как заставить «Мессершмитт» показать брюхо, чтобы ударить в него наверняка; с помощью какой цепи переворотов выбить «Мессершмитт» у себя из-под хвоста и зайти ему в хвост. Рассказывал он не только о своих битвах, но и о битвах других летчиков: объяснял их ошибки, восхищался сообразительностью, продуманным и настойчиво доведенным до конца планом.

Люся слушала его со смутным удивлением. Она много раз видела воздушные бои над Ленинградом, но движения наших и немецких самолетов казались ей случайным, беспорядочным метаньем, а для него они, оказывается, были рядом расчлененных, сознательно созданных событий, результатом искусства, мысли и опыта.

Костин разбирал бои всех летчиков эскадрильи, кроме Никритина. В присутствии Люси он никогда не упоминал о нем. И никто никогда не говорил о Никритине в присутствии Люси. Люся чувствовала в этом проявление особой деликатности.

Рассказывая, Костин обычно обращался к Рябушкину. Рябушкин слушал его почтительно и жадно; обожающими глазами следил он за движениями белых рук Костина. Слушал его и Чепенков; он иногда заходил в библиотеку и молча

останавливался возле дверей. В присутствии Люси Чепенков так робел, что не только не произносил ни слова, но не всегда даже здоровался с нею. Все, что рассказывал Костин, видимо, очень увлекало его, но увлечение это выражалось только в том, что на щеках его то возникали, то пропадали красные пятна. Алексеев тоже слушал Костина, но несколько небрежно и с таким видом, точно говорил: все это мне давным-давно известно, и нет тут ничего удивительного. Слушала Костина и Нюра толстая. Она входила в библиотеку, становилась рядом с Чепенковым и, громко дыша, смотрела не отрываясь на Алексеева. Костин, рассказывая, обращался только к ним, а не к Люсе, даже редко взглядывал на нее, но Люся чувствовала, что рассказывает он именно ей.

Чаще всего Костин говорил о летчике Грачеве. Его ранили в начале сентября; месяца полтора пролежал он в одном из ленинградских госпиталей, потом его вывезли куда-то на самолете из осажденного города, и никто ничего о нем больше не знал. Но эскадрилья помнила о Грачеве. Про подвиги его говорили постоянно. Грачев с первых дней войны проявил в боях замечательное искусство. Утверждали, что даже сам Рассохин многие свои тактические приемы перенял у Грачева. Когда говорили о какой-нибудь особенно хитроумной ювелирной штурмовке, обычно прибавляли:

- Так штурмовал Грачев в июле на Западной Двине.

Когда говорили про «Юнкерс», сбитый из пулемета одиннадцатью патронами, прибавляли:

- А Грачев на Ханко сбивал семью патронами.

Рябушкин пришел в эскадрилью, когда Грачева уже в ней не было, и никогда его не видел. Но слушать о нем он мог без конца. Если при нем называли имя Грачева, он настораживался.

- А почему Грачева вы называете казаком? - спросил он Костина.

- А Грачев и был казак, - сказал Костин. - Настоящий казак, с Дона. У него и ноги были немножко колесом, кавалерийские, и чуб торчал из-под фуражки. В воздухе он тоже был казаком: увидит «Мессершмитт», скачет прямо к нему да как рубанет очередью...

И правая рука Костина тотчас же превращалась в самолет Грачева, а левая - в «Мессершмитт».

- Он был командиром звена? - спросил Рябушкин.

- Да, - ответил Костин.

- И вы у него в звене были?

- Был.

- А кто третий?

Костин посмотрел на Рябушкина, но не ответил, словно не расслышал. И Люся догадалась, что третьим в звене Грачева был Никритин.

Разговоры в библиотеке стали входить в обычай, затягивались на час, на два. Люся в этих разговорах почти не принимала участия, но чувствовала, что, если бы не было ее, не было бы здесь и этих встреч.

Однажды, сидя в библиотеке, Люся услышала, как за дверью, в сенях, разговорились Алексеев и Костин. Они не знали, что через дверь доносится в библиотеку каждое их слово.

- Что же, ты Коле Никритину в наследнички записываешься? - спросил Алексеев и засмеялся.

- Оставь, - оборвал его Костин.

- А что? Разве не стоит записаться?

- Оставь, - еще резче повторил Костин.

- Эх, он рассердился! - воскликнул Алексеев. - А я бы, Жора, на твоём месте записался.

Кое-что в этом разговоре взволновало Люсю. «Значит, - думала она, - летчики тоже считают, что я и Никритин знали друг друга еще до того, как он нашел меня на льду. Если это так, мне некого больше искать. Все найдено, все кончено. Останется только ходить на высокий бугор и стоять над могилой...»

Но иногда ей казалось, что это не так.

Небо было сплошь затянуто слоистыми облаками, сквозь которые пробивалось солнце. С утра посты дали знать на командный пункт, что над озером в облаках бродит «Юнкерс»-разведчик. Несколько раз появлялся он над дорогой через озеро, над колоннами машин и опять исчезал в облаках.

Рассохин приказал вылетать Карякину и Чепенкову. За последнее время он всегда охотнее выпускал в воздух два самолета вместо трех, четыре вместо пяти, шесть вместо семи. «В паре, и только в паре», – любил повторять он. Это значило, что основой строя он теперь считал пару самолетов, а не тройку, звено. Опыт боев научил его, что строй истребителей должен состоять из пар, а не из звеньев. Это ему казалось открытием большой важности, и он думал о нем днем и ночью. Пара – осмысленное соединение: ведущий самолет занят нападением, ведомый – защитой.

Чепенков и Карякин вышли с командного пункта и, жмурясь от света, пошли к самолетам. Мороз был сильный, снег хрустел под ногами. Чепенков шел впереди, коротенький Карякин в огромных унтах с трудом поспевал за ним. Мягким звучным тенором Чепенков запел:

Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твоя покрывала черты.

К Карякину он привык и не стеснялся его, как других, хотя Карякин слыл насмешником.

– Средь шумного бала? – спросил Карякин, догнав его. – Разве в библиотеке танцуют?

Чепенков сразу умолк.

– А я в библиотеку не ходок, – сказал Карякин. – Слишком уж вас там много.

Чепенков не произнес ни слова. Карякин тоже молчал, но пропетый Чепенковым романс привязался к нему. Вечером он подберет его на аккордеоне. «Средь шумного бала, случайно...» стояло в ушах у Карякина. Он осмотрел мотор, влез в самолет и опробовал пулеметы. Все в порядке. «В тревоге мирской суеты...» Включил мотор.

Ракета. Самолет Карякина помчался по белому полю, оторвался от земли. Лес поплыл под самолетом. «...Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Нужно сделать разворот вправо, чтобы дать Чепенкову пристроиться, чище, чище развернуться: ведь Батя наблюдает с аэродрома за взлетом. Вот Чепенков уже в воздухе. Пора убрать шасси. Теперь нужно пройти над самой вершиной бугра. Такой установился обычай: при каждом боевом вылете пролетать над бугром, салютуя могиле Никритина. Как странно возникают обычаи! Никто никогда об этом не говорил, не условливался, никаких таких приказаний не было, а вот каждый на взлете, идя в бой, непременно промчится над самой могилой.

Вот и озеро. Как много сегодня на трассе машин. Идут почти вплотную друг за другом: одна цепь – в Ленинград, другая, встречная, – из Ленинграда. Недаром немцы выслали разведчика. Где же он, этот «Юнкерс»? Карякин оглядел весь воздушный простор под облаками. Чепенков идет сзади, повторяя все его повороты. «Юнкерса» нигде не видно.

«Надо посмотреть, что за облаками», – решил Карякин и круто взмыл вверх, врезался в клубящиеся струи облачного тумана. Окутанный туманом со всех сторон, он сразу перестал ощущать направление и только по альтиметру видел, что продолжает подниматься. Но вот туман поредел, и Карякин выскочил из облаков.

Над первым слоем облаков, пробитым Карякиным и Чепенковым, висел второй слой. Они очутились как бы в огромном гроте между двумя клубящимися слоями

облаков. Грот был наполнен перламутровым светом. И в этом свете Карякин сразу же увидел «Юнкерс». Он находился от них метрах в четырехстах и двигался прямо навстречу.

«Тебя я увидел, но тайна...»

Карякин нажал гашетку. Короткая очередь Карякина. Короткая очередь Чепенкова. И они, несясь на бешеных скоростях, уже проскочили мимо «Юнкерса».

«Твои покрывала черты...»

Карякин круто повернул и устремился «Юнкерсу» в хвост. Внизу, на клубках пара, он видел три расплывчатые тени: «Юнкерса», своего самолета и самолета Чепенкова. Правый мотор «Юнкерса» был уже разбит, однако он лез вверх: видимо, хотел уйти в верхний слой облаков.

Но Карякин и Чепенков поднялись выше вражеской машины и погнали ее вниз. «Юнкерс» покорно подчинялся этому, стремясь уйти под нижний слой облаков. Тогда Карякин и Чепенков нырнули под него и снова погнали вверх. «Юнкерсу» оставалось лишь покорно идти прямо между слоями облаков. И он летел все вперед и вперед, отстреливаясь, дымя правым мотором.

Карякин насакивал на него сзади, сверху, снизу и расстреливал в упор. «Средь шумного бала, случайно...» Очередь! «В тревоге мирской суеты...» Очередь! «Тебя я увидел, но тайна...» Очередь! «Твои покрывала черты...» Очередь! Очередь!

Чепенков слегка отстал: в узком пространстве между облаками он опасался попасть под пулеметную струю Карякина. «Юнкерс» перестал отстреливаться, но упорно шел вперед на одном моторе. Хвост черного дыма тянулся за ним. Очередь! Еще очередь! «Юнкерс» был дьявольски живуч – пылал, но двигался вперед.

И вдруг ослепительный солнечный свет хлынул со всех сторон. Все три самолета выскочили из облаков.

Карякин увидел лед, ясное бледное небо и дальний, противоположный берег озера. Нужно кончать. Вот Чепенков тоже подскочил к «Юнкерсу» и бьет в упор. Нет, не так. Убить летчика – вот что теперь необходимо. «Тебя я увидел, но тайна...» Очередь!

«Юнкерс» сорвался и огромным пылающим костром полетел вниз.

Круг над ним, один круг – и домой. «...Твои покрывала черты...» Какое торжество!

Люся видела, как взлетели Карякин и Чепенков. Она шла по краю аэродрома к командному пункту, держа письмо в руке. С гулом пронеслись самолеты над ее головой.

Она уже привыкла к жизни на аэродроме. Все ей теперь здесь было знакомо. Вон на том краю старт. Там, на снегу, лежит большое полотнище, похожее на букву «Т». Старт сегодня на том краю, потому что ветер дует оттуда, а садиться нужно против ветра. У старта стоят несколько человек. Воздух прозрачен, хотя небо облачно, и, несмотря на дальность расстояния, Люся без труда узнала Рассохина, Ермакова и Костина.

Она была здесь своим человеком, и это радовало ее. И вовсе не потому, что раньше ей было плохо, а здесь стало хорошо. Ей нравились эти люди в кожаных шлемах, их жизнь, все, что было связано с этой жизнью: простор аэродрома, струя снежной пыли из-под взлетающего самолета, вечерние разговоры в библиотеке о воздушных боях. Эта жизнь была ей родной потому, что тот человек, с которым она вместе уходила от немцев августовской ночью, тоже жил такой же жизнью.

Она встретила его в поле, когда потеряла в темноте девчонок, вместе с которыми рыла траншею. Немецкие мины выли и шлепались в рыхлую землю. Люся стояла одна, не зная, что делать, куда идти. Он случайно натолкнулся на нее, крикнул: «Ложись!» Она не поняла и продолжала стоять. Он повалил ее, положив на затылок большую, тяжелую руку. Потом они шли куда-то вдвоем, и ноги их путались в картофельных стеблях. Каждую минуту кричал он ей: «Ложись!» – но вой и грохот заглушали звук его голоса, и он валил ее, кладя руку ей на затылок. Наконец они упали в большую воронку и просидели там несколько часов. Когда столбы земли обрушивались на них, он загоразивал ее своей спиной. Потом он вдруг поцеловал ее и сказал, что глаза ее блестят в темноте. Он сказал, что хотел бы, если они выберутся отсюда, никогда с нею не расставаться. Он спросил, нет ли у нее карточки. У нее в кармане сохранился старый пропуск в столовую с фотографической карточкой; она оторвала ее от пропуска и отдала ему. Потом, когда стало тише, они вылезли из воронки и поползли. Пройдя через лес, они вышли на дорогу и попали в огромную толпу людей, бегущих в Ленинград. Там, в этой толпе, на рассвете она потеряла его. Неужели это он лежит на вершине бугра! Неужели она никогда больше его не увидит!

С письмом в руке Люся подошла к командному пункту.

Если почта приходила утром, она сама разносила некоторые письма. Это письмо она понесла сама, потому что человек, которому оно было адресовано, еще ни разу при ней не получал писем. Краснофлотец, стоявший с автоматом у входа на командный пункт, улыбнулся ей: он ее знал. Она спустилась по наклонной доске с поперечными жердочками, толкнула дверь и вошла.

Летчики – в комбинезонах, шлемах, унтах, с планшетами – стояли, прислонясь к столбам, подпиравшим потолок, отдувались от жары и ждали, когда им прикажут вылететь. Особенно напряженно ждал Рябушкин. Рассохин не разрешал ему летать, но не запрещал приходить каждый день вместе с другими летчиками на командный пункт и ждать. И Рябушкин ждал, переходя от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде. Увидев Люсю, летчики кивнули ей, но не сказали ни слова: на командном пункте они были неразговорчивы. Да и не ради них пришла она сюда. Она свернула направо, в комнатку оперативного дежурного, где звонили телефоны и откуда доносился раскатистый голос:

– Лейтенант Тарараксин слушает...

По стенам висело шесть телефонов. К каждому из них была приклеена бумажка со странной надписью: «Луна», «Ястреб», «Сокол», «Дуэт», «Редиска». В комнате был стол с чернильницей и керосиновой лампой, вертящийся табурет и кожаный диванчик.

Оперативный дежурный эскадрильи лейтенант Леша Тарараксин в огромной флотской шинели сидел на табурете и беспрестанно вертелся, хватал то одну телефонную трубку, то другую. Он был велик ростом, неуклюж, заполнял собой, казалось, всю комнату и своими длинными руками мог дотянуться до любого телефона. Светлые волосы его были встрепаны и торчали в разные стороны, на щеках росли клочки мягкой бородки, большое улыбающееся лицо его сияло добротой и кротостью. Он почти никогда не выходил из землянки командного пункта и спал здесь же, на кожаном диване. Беспрестанные телефонные звонки, смены приказаний и донесений могли бы утомить, раздражить и не слишком нервного человека. Но лейтенант Тарараксин никогда не терял добродушия и спокойствия.

- Он создан для того, чтобы быть оперативным дежурным, как рыба создана для плавания, а птица для полета, - шутя сказал о нем как-то Костин.

Летчики любили Лешу, но говорили о нем посмеиваясь. Рассказывали, что Тарараксин с самого раннего детства мечтал стать летчиком. Он поступил в летную школу, хорошо учился по всем теоретическим предметам. Но летать не мог: в воздухе ему становилось дурно. Как он с этим ни боролся, перебороть себя не мог. Его хотели отчислить от авиации, но он больше всего на свете любил аэродром, самолеты, летчиков и упрямился оставить его в авиации на любой должности. И его оставили.

Говорили, будто Тарараксин, встречаясь с людьми посторонними, всегда выдавал себя за летчика. Перед войной он провел месяц в доме отдыха, и все отдыхающие были уверены, что Леша чуть ли не король воздуха.

Когда Люся вошла, Тарараксин говорил по телефону. Он приветливо ей улыбнулся. Она села на кожаный диванчик, держа перед собой письмо, и стала ждать, когда телефонный разговор кончится. Но, повесив трубку, Леша повернулся на вертящемся табурете к ней спиной, записал что-то в толстой тетради, лежавшей на столе, и только после этого повернулся снова и еще приветливее улыбнулся.

- Вам письмо, - сказала Люся.

Он покачал большой головой, продолжая улыбаться. Ей показалось, что он не понял ее, и она повторила:

- Письмо вам.

Он опять покачал головой.

- Я никогда не получаю писем.

Люся удивилась:

- Никогда? Разве у вас нет друзей?

- Все мои друзья здесь.

- А родные?

- У меня родных нет.

Он схватил трубку, позвонил куда-то и долго от кого-то требовал немедленной доставки в эскадрилью двух бочек с антифризом.

Однако письмо все-таки существовало, и на нем отчетливо было написано: «Алексею Павловичу Тарараксину». И когда он снова повесил трубку, Люся сунула ему в руку конверт.

- Гм! Удивительно, - недоумевал он, вертя конверт и разглядывая его со всех сторон. - Штемпель. Еще один штемпель. Опушено в Ленинграде... почти три месяца назад... И только сейчас дошло. А, вот в чем дело! Адрес написан

неправильно: это довоенный адрес нашей эскадрильи. Лежало, пока выяснилась путаница с адресом... – Вдруг он побледнел. – Я знаю, от кого это письмо. Это письмо от покойницы.

– От покойницы? – переспросила Люся.

– Да, да, от покойницы. От Варвары Степановны. От моей тетушки. Она жила перед войной в Эстонии вместе с мужем и дочкой. А когда немцы начали наступать, отправилась с дочкой морем в Ленинград, и обе по дороге погибли...

– Они не погибли, – сказала Люся. – Они доехали до Ленинграда. Ведь штемпель-то на письме ленинградский...

Эта догадка страшно взволновала Тарараксина. Он торопливо разорвал конверт. Но тут зазвонил телефон. Он бросил письмо на стол.

– Тарараксин слушает! – закричал он в трубку. Потом, повесив трубку, громко спросил: – Командир здесь?

– Здесь! Здесь! – ответило ему из соседней комнаты несколько голосов.

Леша вскочил, вытянулся во весь свой рост. Голова его почти коснулась потолка землянки. Он шагнул к двери, но на пороге уже стоял капитан Рассохин.

– Товарищ капитан, посты доносят: два наших самолета сбили «Юнкерс», – отрапортовал Леша.

– Так, – сказал Рассохин.

– Теперь они ведут бой с четырьмя «Мессершмиттами».

– Так, – сказал Рассохин.

– Нужно вылететь на помощь Карякину и Чепенкову, – раздался голос Костина.

Костин вернулся на командный пункт вместе с Рассохиним и теперь стоял у него за плечами.

– А вы тут не командуйте, – Рассохин обернулся к Костину. – Никто не вылетит, пока я не прикажу.

И громко крикнул:

– Всем оставаться здесь!

«Средь шумного бала, случайно...» Тьфу! Привязалось и никак не отвяжется. Карякин оглядел горизонт. Как резко изменилась погода, ни единой тучки. Солнце. Сияет воздух, сияет снег на озере. Облака, в которых они только что гнались за «Юнкерсом», теперь висят синей грядой над берегом.

Надо идти домой. Время еще не истекло, есть еще и горючее, но надо идти домой, потому что не осталось ни одного патрона. Они будут в глупом положении, если встретят сейчас «Мессершмитты». Домой, домой!

Подумав о «Мессершмиттах», Карякин сразу увидел их. Они блеснули на солнце в глубине неба, как рыбы блестят в глубине реки. Сначала он заметил только два самолета, потом еще два, метров на триста выше. Он взглянул на Чепенкова. Чепенков шел за ним и тоже, конечно, видел «Мессершмитты».

Карякин круто пошел вниз, надеясь, что над самым льдом они его не заметят. Но было уже поздно. «Мессершмитты» неслись прямо к ним. Верхняя пара так и осталась несколько повыше, а нижняя догнала. Мгновение – и один «Мессершмитт» за хвостом Карякина, другой – за хвостом Чепенкова.

Прежде чем немцы успели выстрелить, Карякин перевернулся в воздухе. Между льдом и небом, поменявшимися местами, он увидел самолет Чепенкова, который тоже переворачивался. Мгновение – и Карякин в хвосте у одного «Мессершмитта», а Чепенков – в хвосте у другого.

Вот бы теперь ударить. «...В тревоге мирской суеты...» Но ни одного патрона, черт побери!

Однако оба немца горкой пошли вверх. Ура! Они боятся. Они не знают, что патронов нет.

Два «Мессершмитта» ушли вверх, но два других, дежурившие наверху, сразу спикировали и пристроились к хвостам самолетов Карякина и Чепенкова.

Перевернуться, немедленно перевернуться!

Готово!

Карякин и Чепенков опять в хвостах у двух «Мессершмиттов». Нет патронов. Немцы снова горку – и вверх два «Мессершмитта», дежурившие наверху, спикировали – и опять в хвостах у Карякина и Чепенкова. Они сменяют друг друга, обе пары «Мессершмиттов».

Переворот! Пара вверх, пара вниз. Переворот! Два «Мессершмитта» вверх, два «Мессершмитта» вниз. Переворот! «...Тебя я увидел, но тайна...» Переворот! Пара вверх, пара вниз. Переворот! Долго ли это может продолжаться? Переворот! «Твои покрывала черты...» Да это какой-то странный танец! Пары сменяются, как на танцевальной площадке. Переворот!

Горючего осталось минут на семь. Когда же они, наконец, догадаются, что нет патронов! Переворот. Надо осмотреть небо, не идут ли на помощь. Пары сменились. Переворот. Тошнит, глаза почти не видят. Переворот.

Вот оно, небо! Да, над берегом самолеты. Не Батя ли спешит на помощь? Переворот.

Нет, не Батя. Разрывы зенитных снарядов пятнают небо. Это немцы идут бомбить трассу...

Переворот.

«Средь шумного бала...»

Когда на командный пункт позвонили и передали, что к озеру с разных направлений движется несколько десятков «Юнкерсов», и лейтенант Тарараксин доложил об этом, вытянувшись во весь свой огромный рост и касаясь макушкой потолка, Илья Рябушкин удивленно посмотрел на Рассохина. Откуда Батя мог знать это заранее? А ведь он, несомненно, знал заранее. Если бы он не знал заранее об этом громадном налете, разве он не отправил бы всю эскадрилью на помощь Карякину и Чепенкову?

Костин удивился гораздо меньше Рябушкина, потому что план Рассохина был ему понятен. Еще когда Рассохин с такой неожиданной резкостью оборвал его, приказав ему здесь не командовать, он сообразил, что командир ждет чего-то и бережет силы эскадрильи. Потом, размышляя, он понял, по каким признакам Рассохин догадался о предстоящем налете немецкой авиации на трассу. Прежде всего над озером появился немецкий разведчик. Разведчика сбили Чепенков и Карякин. Тогда немцы выслали на озеро небольшую группу «Мессершмиттов». Зачем они их выслали? Чтобы втянуть эскадрилью в бой, занять ее боем. Если бы эскадрилья вылетела на помощь Карякину и Чепенкову, она оставила бы трассу без защиты.

- Ты пойдешь со мной в паре? - неторопливо спросил Рассохин у Ермакова.

Комиссар кивнул кудрявой головой.

«Если только он позволит мне вылететь, если только он возьмет меня с собой, я их всех удивлю, я им покажу, на что способен», - думал Рябушкин.

Но взгляд маленьких голубых глаз Рассохина лишь скользнул по Рябушкину и остановился на Костине. С той же неторопливостью, словно времени впереди хоть отбавляй, Рассохин сказал:

- Вы пойдете, Костин.

«А вдруг он пошлет меня с Костиным? - подумал Рябушкин. - Ведь я и Карякин у Костина были в звене».

- Алексеев! - сказал Рассохин.

- Слушаю!

- Пойдете с Костиным ведомым.

- Есть!

На веснушчатом лице Рябушкина сразу появилось много маленьких капелек пота. «Пропало, - думал он. - Две пары уже есть».

- Рябушкин!

«Слушаю», - хотел сказать Рябушкин, но у него перехватило дыхание, и он не произнес ничего.

Рассохин смотрел на него просто и ясно, словно между ними никогда ничего не было.

- Вы пойдете пятым.

Давно не испытанное ощущение счастья охватило Рябушкина, когда самолет его оторвался от снега, низко прошел над вершиной бугра и понесся к озеру. От утренних туч не осталось и следа. Небо сияло, наполненное солнечным светом, и тени сосен на снегу были удивительно отчетливы и сини.

Рассохин шел впереди. Слева от него – Ермаков, за ним, также слева, – Рябушкин. Костин был справа от Рассохина, а справа от Костина – Алексеев. Журавлиным клином вышли они на озеро, круто набирая высоту.

Ледовую трассу пересекли на высоте трех тысяч метров. Грузовики на трассе казались крохотными и почти неподвижными с такой высоты. Однако Рябушкин, давно не летавший, был поражен количеством грузовиков: дорога, кормившая город, работала напряженно и мощно.

Они пересекли трассу и двинулись дальше на юг, к широкой дуге лесистого южного берега, западный край которого был захвачен немцами.

Вражеских самолетов Рябушкин не видел, но по уверенности, с которой шел Рассохин, чувствовал, что они где-то близко, что вот-вот он увидит их. Рябушкин слышал стук своего сердца. Ему было неловко перед самим собой, что сердце его так бьется, но он ничего не мог поделать. Утешала мысль, что об этом никто никогда не узнает. Он напряженно глядел вперед, но никого не видел. Береговая черта стремительно приближалась.

И вдруг слева, впереди, несколько ниже себя он заметил маленькие клочки дыма. Часто-часто возникали они над темно-зеленым бархатом леса в том краю южного берега, где стояли наши войска. Это бьют зенитки. В кого они бьют? И тут он увидел...

Он увидел много «Юнкерсов», очень много и так близко, что удивился, как не видел их прежде. Все они были ниже его на полтысячи – тысячу метров, трудно различимые на фоне леса. Они ползли неторопливо, как большие насекомые, и все пространство впереди было полно ими. Сползались они двумя потоками справа и слева и, соединяясь над берегом, двигались к северу – к озеру, к трассе.

«Самолет Алексеева. Самолет Костина. Самолет Ермакова. Самолет Рассохина. Нас только пятеро, всего пятеро, – думал Рябушкин. – Как громко бьется сердце. Интересно знать, у Костина тоже сердце бьется так громко? А, к черту! Пусть бьется, это не важно. Важно, как поступит Рассохин». Рябушкин следил за самолетом Рассохина, не отрывая глаз. Он знал, что Алексеев, Костин и Ермаков тоже пристально следят за Рассохинным.

И вот Рассохин, снижаясь, пошел прямо на «Юнкерсы», резко увеличив скорость. Значит, в бой. Значит, отступления не будет.

Радость вдруг охватила Рябушкина неожиданно для него самого. Ему даже показалось, что Рассохин обернулся и взглянул – следует ли за ним его эскадрилья. Неужели он мог усомниться? И Рябушкин увеличивал обороты мотора, чтобы не отстать от Рассохина и Ермакова.

Они шли снижаясь, неслись, как по скату горы, и от этого скорость их увеличивалась с каждым мгновением. Рябушкин внезапно увидел «Юнкерсы» прямо перед собой. Они были похожи на стадо огромных быков, шли строем, стеной, и стена эта казалась неприступной.

Что сейчас сделает Рассохин? Отвернет? Проскочит над ними?

Но Рассохин не отвернул, не проскочил, а строй «Юнкерсов» мгновенно распался, смешался. Они стали неуклюже расступаться, как быки, почти налезая друг на друга боками. Те, которые были впереди, вдруг повернули и пошли назад прямо

под брюхами задних.

Бегут! Ликуя и все еще сомневаясь, веря и не веря, ворвался Рябушкин во всполошенное стадо «Юнкерсов» вслед за Рассохиным и Ермаковым. Он, проскакивая между «Юнкерсами», стрелял почти наугад, потому что они в таком множестве обступали его со всех сторон, что невозможно было выстрелить и не попасть. В него тоже стреляли, но он не обращал никакого внимания на их очереди, так как не успевал следить за ними. Мельком глянув вниз, Рябушкин увидел огромный самолет, который пылал и падал, переворачиваясь в воздухе. «Неужели это я его сбил? Нет, наверно, не я. Разве в этой суматохе поймешь...»

Алексеева он потерял из виду с самого начала. Ермакова, Костина и Рассохина он видел в течение нескольких первых секунд, но потом и они исчезли, заслоненные от него грузными телами немецких самолетов. Он стрелял и стрелял, кидаясь от «Юнкерса» к «Юнкерсу», но теперь попадать стало труднее: стадо расплзлось в разные стороны, редело; немцы удирали маленькими группами, поодиночке.

Внизу, на снегу, догорал сбитый «Юнкерс». «Нет, не я его сбил, – думал Рябушкин. – Неужели они уйдут, а я так никого и не собою?»

Тревога охватила Рябушкина. Рассохин позволил ему вылететь, взял с собой на такой замечательный подвиг, а он ничего не сделал, ни одного самолета не сбил. Он увидел на земле, на самом берегу, еще один горящий «Юнкерс», и этот тоже был сбит, вероятно, не им. Нужно немедленно совершить что-то необычайное, нужно доказать всем, пока не поздно.

Но, кажется, было уже поздно. Небо быстро пустело. Никого из своих товарищей Рябушкин не видел. «Юнкерсы» расплзлись в разные стороны и, низко прижимаясь к лесу, уходили за горизонт.

К несчастью, Рябушкин потерял довольно много времени из-за своей нерешительности. Он погнался сначала за одним «Юнкерсом», но скоро понял, что уже не догонит, бросил его, погнался за другим и тоже бросил, заметив, что тот затягивает его в глубь захваченной немцами территории. Тем временем «Юнкерсы» окончательно разбрелись. Рябушкин свернул к северу, чтобы выйти на озеро. И тут слева от себя заметил еще не успевшие уйти два «Юнкерса».

Они направлялись на запад, в сторону Шлиссельбурга, держась очень близко друг от друга. Их еще можно было догнать, и Рябушкин, круто свернув, погнался за ними. Заметив советский самолет, эти бомбардировщики, вместо того чтобы прижаться к земле, как поступали остальные «Юнкерсы», стремившиеся обезопасить себя от атак снизу, стали набирать высоту. Это несколько обескуражило Рябушкина; однако он полез вверх за ними. Оба «Юнкерса» продолжали держаться рядом, совершая все повороты одновременно. Быстро к ним приближаясь, Рябушкин думал о том, как их лучше атаковать.

Первую атаку совершил он сзади. Но объединенный огонь пулеметов обоих бомбардировщиков был так силен, что ему пришлось отвернуть в сторону. Тогда он попытался атаковать правую машину сбоку; но «Юнкерсы» с необычайной ловкостью повернулись к нему хвостами, и он опять оказался под огнем их пулеметов и опять отвернул.

Рябушкин понял, что напал на очень опытных летчиков. Он наскокивал на них справа, слева, сверху, но всякий раз «Юнкерсы» мгновенно перестраивались и встречали его таким дружным, умело согласованным огнем, что он отступал. Неудачи подстегивали Рябушкина, и он возобновлял атаки. Стрелять ему удавалось только с больших дистанций, и «Юнкерсы» оставались неуязвимыми. Он вдруг испугался, что у него скоро кончатся патроны. Что тогда делать? Неужели они уйдут?

Вертясь вокруг «Юнкерсов», он внезапно оказался под ними. С бешенством смотрел Рябушкин на их круглые, акульи животы. И вдруг к нему вернулась

надежда: оба «Юнкерса» шли рядом, очень близко друг от друга, их можно протаранить – два зараза, одним ударом!

Рябушкин расстегнул ремни, которыми был прикреплен к сиденью, ошупал кольцо парашюта на груди и круто устремил свой самолет вверх, прямо в узкий промежуток между двумя «Юнкерсами».

Он на мгновение закрыл глаза. Свист в ушах. Самолет несся на предельной скорости. Вот-вот он заденет левым крылом один «Юнкерс», а правым – другой, и все три машины рухнут на землю.

Скоро ли? Почему так тянется время?

Рябушкин не вытерпел и открыл глаза. «Юнкерсов» перед ним не было. Он глянул назад, вниз, и увидел их. Они шли в прежнем направлении, и только промежуток между ними стал шире.

Рябушкин понял: они расступились и пропустили его.

У него почти не оставалось горючего и патронов. Он повернул к аэродрому.

Если бы он был моложе, то наверняка заплакал бы...

Во время боя Костин ни разу не видел самолета Алексеева. Но это его не удивило – в такой каше не уследишь; очень быстро потерял он из виду и всех остальных своих товарищей.

Когда «Юнкеры» стали удирать поодиночке, разбредаясь в разные стороны, Костин выбрал одну вражескую машину и пошел за ней. Он наметил себе именно ее, потому что она шла как-то неуверенно (видимо, была повреждена), не прижимаясь к лесу, подобно другим «Юнкерсам», а, напротив, стараясь держаться как можно выше. Вероятно, немец не был уверен, что дотянет до своего аэродрома. Машина шла на высоте трех тысяч метров к югу, к линии фронта.

Костин, набирая высоту, погнался за этим «Юнкерсом», но не прямо, а сложным изломанным путем, чтобы не дать вражескому экипажу догадаться, в чем дело. Оглянувшись, Костин увидел за хвостом своего самолета машину Алексеева и обрадовался. Алексей шел за ним следом, искусно и точно повторяя все его эволюции.

Костин не любил Алексеева, но никогда этого не показывал. Бачки, франтовство, склонность к волокитству – все это раздражало Костина, особенно последнее время, когда они оба стали ежедневно посещать библиотеку. Однако из чувства справедливости он не позволял себе думать об этом. Он знал, что Алексей отличный пилот, что теперь, после того как ранили Грачева и убили Никритина, Алексей – один из наиболее опытных летчиков эскадрильи. Алексей охранял сейчас хвост его самолета, и Костин мог не бояться, что на него нападут сзади.

Обманув «Юнкерс» широким обходным маневром, он, набрав высоту, нагнал его возле самой линии фронта, бой продолжался всего несколько секунд. После второй очереди Костина «Юнкерс» сорвался в штопор и, крутясь, дымя, полетел вниз.

Не прошло и десяти секунд, как струя пуль ударила в самолет Костина сзади. Бронированная спинка кабины выдержала, и Костин остался цел. Но самолет его сразу запылал.

Все это произошло совершенно для него неожиданно, но он нисколько не испугался. Открепив себя от сиденья, Костин выпрыгнул. Прыгая, вспомнил, что находится за линией фронта, над позициями немцев. Но ветер дул с юга, от немцев к нам, и высота была три тысячи метров. Если он сразу откроет парашют, ветер перенесет его через фронт на нашу сторону.

Парашют раскрылся хорошо. В стороне, гораздо выше себя, Костин увидел удаляющийся силуэт «Мессершмитта». Это он подкрался к Костину сзади. Но как ему удалось миновать Алексева? Неужели он сбил и Алексева? Где Алексей?

Он посмотрел вниз, на лес, подсиненный дально, и сердце его дрогнуло. Ветер заметно тащил его. Но не на север, а на юг. Не к нашим, а к немцам.

Непонятно, каким образом ветер переменял направление за такой короткий срок. Но не стоило об этом размышлять. В плен он не хочет. Выход есть: застрелиться. Странно: в это время Костин подумал о Люсе – осталась ли она на командном пункте ждать их возвращения или ушла. «Наверно, ушла, очень нужно ей ждать».

Когда пистолет был уже у него в руке, он вдруг заметил, что ветер опять переменялся и несет его от немцев к нашим. Костин хорошо видел линию фронта, две немецкие минометные батареи, которые вели огонь, видел «ничью» землю и наши траншеи. Он висел над немцами, но до наших траншей было не больше пятисот метров. Костин засунул пистолет в кобуру и застегнул ее.

Его опять понесло в сторону немцев. Что за черт! Воздух был слоистый, и на разных высотах ветер дул в разных направлениях. Костин снова принялся вытаскивать пистолет из кобуры. И когда Костин его вытащил, он достиг уже

высоты в полторы тысячи метров.

Здесь ветер дул с юга, со стороны немцев, и не менялся уже до самой земли. Костин опять спрятал пистолет. Когда ветер проносил его над дотами немцев, в него стреляли с земли, из винтовок.

Он опустился в нескольких метрах позади наших траншей. Красноармеец с автоматом, угрюмый и недоверчивый, подошел к нему, освободил от парашюта и повел в землянку к своему командиру.

На командном пункте Люся и Тарараксин остались вдвоем. Люсе нечего было здесь делать, но уйти она не могла. Невозможно было уйти, пока не вернутся вылетевшие самолеты.

Она так тихо сидела на кожаном диванчике в комнате оперативного дежурного, что Тарараксин, видимо, даже забыл о ее присутствии. Огонек керосиновой лампы захирел, поник, комната наполнилась сумраком, и диванчик вместе с Люсей потонул во мраке; только Люсины глаза поблескивали.

Она не представляла себе, что может быть на свете такая тишина. Сюда, под землю, не проникал ни один звук. Иногда тишину прерывал звонок телефона. Каждый из шести телефонов звонил на свой собственный лад: один хрипло, другой пронзительно, один протяжно, другой отрывисто, и Люся мало-помалу научилась различать их по звуку. Леша протягивал свою ручищу, хватал трубку, что-то выслушивал, что-то говорил; как Люся ни вслушивалась, из обрывистых его слов она не могла отгадать, что происходит в далеком, невидимом отсюда небе.

В промежутках между телефонными разговорами Леша неподвижно сидел на своем вертящемся стуле спиной к столу, положив большие ладони на колени и глядя прямо перед собой в сумрак; если бы не редкие вздрагивания его ресниц, можно было бы подумать, что он мертв. В этой тишине, полной напряженного ожидания, терялось всякое ощущение времени. Трудно было сказать, минуты ли проходили, или часы.

Наконец, из разговора Леша по телефону Люся поняла, что над аэродромом появились два самолета и идут на посадку.

- Вернулись, - сказал ей Леша.

- Кто? - спросила Люся.

- Сейчас увидим.

Вот за стенкой скрипнула дверь. Кто-то вошел. Слышно было, как вытирают ноги о тряпку, лежавшую у порога. Неуверенные, нетвердые шаги, и у входа в комнату оперативного дежурного появились Карякин и Чепенков.

Быть может, тут виною был тусклый свет керосиновой лампы, но лица их показались Люсе неестественно бледными. Особенно лицо Чепенкова, на котором обычно был такой нежный румянец.

- Целы? - спросил Леша.

Карякин снял шлем и улыбнулся. Но стоять на ногах ему было трудно, он качнулся и схватился рукою за дверной косяк.

- Домой идите, - сказал им Леша.

- Нет, - ответил Карякин. - Будем ждать командира.

Он держался за косяк и пошатывался.

- Я кувыркался, - говорил он улыбаясь. - Мы с ним кувыркались... Все время кувыркались... - Карякин заметил Люсю и улыбнулся еще шире, показав свои белые зубы. - Мы кувыркались... - пытался он ей рассказать, но не находил слов. - Я уж думал - конец, закувыркаюсь сейчас совсем... «Средь шумного бала...» Но тут пришли «Юнкерсы», наши напали на них, и «Мессершмитты» бросили нас, понеслись к ним. А мы ушли...

Он, видимо, чувствовал, что ничего не в состоянии толком объяснить, что его невозможно понять, и запутывался все больше, и улыбался все шире. Улыбаясь, он

сел на диванчик рядом с Люсей. И Чепенков сел рядом с ним.

Опять наступила тишина, полная ожидания.

Вошел Алексеев, вошел слишком твердыми, преувеличенно уверенными шагами. В дверях он остановился и внимательно оглядел всех. Люсю он не ожидал здесь встретить. И когда заметил ее, легкая тень неудовольствия пробежала по его лицу.

- Где Костин? - спросил Леша.

Алексеев выпрямился, весь топорщась от какой-то беспокойной надменности, и угрюмо посмотрел на него.

- Доложу командиру, - сказал он почти грубо.

И сел на диванный валик, отдельно от всех, с подчеркнuto независимым видом.

Вероятно, Леша был несколько этим уязвлен. Вместо того чтобы опять предаться томительному ожиданию, он развернул принесенное Люсей письмо и принялся читать его, чтобы показать Алексееву свое полное равнодушие. Но с первых же строк письма Леша позабыл про Алексеева.

- Она была жива! Она была в Ленинграде! - чуть не кричал он.

- Вот видите. Я же вам говорила, - сказала Люся.

- Пишет из больницы. Пишет, что непременно умрет... Непременно... Прошло два месяца... Может быть, уже и умерла?..

- Может быть...

- У нее осталась дочка...

Леша задумался.

- Маленькая?

- Ей было лет десять, когда я ее видел в тридцать девятом году. Тетушка просит, чтобы я позаботился о ее дочке. Но где теперь искать эту девочку?

- А у вас совсем нет больше родственников?

- Нет... Впрочем, есть один человек... в Ленинграде... Родной мой дядя... Но я мало с ним знаком... Тетушка не любила его...

- Почему?

- Не знаю. Она не оставила бы ему свою дочку.

- Он, может быть, расскажет вам что-нибудь. Вы бы сходили к нему.

- Не пойду.

- Отчего?

- Я с ним поссорился.

- Это глупо.

- Нет-нет, поссорился самым настоящим образом. Еще в конце лета. Он предложил мне гражданскую одежду. Встретил меня и сказал, что у него всегда найдется для меня пиджак... Он думал, что немцы возьмут Ленинград и я прибегу к нему переодеться, чтобы спастись. Разве после этого вы пошли бы к нему?

- Не пошла бы, - сказала Люся.

Но тут зазвонил телефон, и, пока Леша кричал что-то в трубку, вошли Рассохин и Ермаков, а сзади – бочком, неуверенно – Рябушкин.

При появлении Рассохина все встали. Люся тоже встала. Она невольно подчинялась всем порядкам, которым подчинялись здесь все.

С лица Рассохина еще не успело сойти оживление боя. Маленькими острыми глазами он мгновенно окинул всех собравшихся в комнатке оперативного дежурного.

- Товарищ капитан, разрешите доложить... – начал Алексеев.

Но Рассохин, скользнув по нему взглядом, смотрел на Чепенкова и Карякина.

- Живы они, комиссар, видишь, живы? – закричал Рассохин весело. – А ведь, признайся, ты думал, что я пожертвовал ими, чтобы отвлечь эти проклятые «Мессершмитты»? Признайся, думал?

- Думал, – сказал Ермаков.

- Живехонький! – восклицал Рассохин, схватив покрасневшего Чепенкова за плечи и вертя его перед собою, как бы для того, чтобы вернее убедиться в его целостности и невредимости. – А я, честное слово, верил, что они выдержат и ничего им не будет. – Он схватил улыбающегося Карякина за плечи и потрянул его. – Патронов не хватило, а? Ничего, можно драться, оказывается, и без патронов!

- Товарищ капитан, разрешите доложить? – вновь обратился Алексеев к Рассохину.

Рассохин опять мельком взглянул на него и сразу повернулся к Рябушкину.

- Я все видел, Рябушкин, – сказал он и захохотал.

Круглое лицо Рябушкина покрылось капельками пота. Испуганно мигая, смотрел он на Рассохина.

- Ты скажи мне правду, Рябушкин, – Рассохин продолжал смеяться, – когда пошел их таранить – глаза закрыл?

- Закрыл, – еле слышно произнес Рябушкин.

- Нет, ты послушай, Тарараксин, что он вытворил!

И Рассохин рассказал, как Рябушкин пытался таранить два «Юнкерса» зараз, как они раздвинулись и как он проскочил между ними.

- Я... я не буду... – залепетал Рябушкин. – Это в последний раз... Только позвольте мне летать, товарищ капитан.

Рябушкину было безразлично, что над ним смеются, он сам смеялся бы над собой, если бы мог; он думал только об одном: лишь бы ему теперь позволили летать.

Рассохин сразу перестал смеяться.

- Позволить тебе летать? – спросил он удивленно. – А почему же тебе не позволить летать? Летать ты умеешь. И драться умеешь.

И не только не слышалось насмешки в голосе Рассохина, а напротив, было такое явное уважение, что Рябушкин не выдержал, ушел в соседнюю комнату, где никого не было, и, потрясенный, сел там на стул.

- Разрешите доложить? – в третий раз сказал Алексеев.

Теперь Рассохин посмотрел на него гораздо внимательнее.

- А где Костин? - спросил он.

- Я как раз хотел доложить... - начал Алексеев. Но Рассохин перебил его:

- Где Костин?

- Старший лейтенант Костин звонил по телефону, - сказал Леша. - Его сбили над фронтом. Он спустился в расположение наших войск и спит на командном пункте батареи.

- Цел? - спросил Рассохин.

- Цел.

- Пошлите за ним машину.

- Но разрешите... - начал Алексеев.

- После разберемся. - Рассохин повернулся к нему спиной.

- Но, товарищ капитан... - И Алексеев замолчал с выражением оскорбленного достоинства на лице.

И вдруг Рассохин обратился к Люсе.

- Отчего вы такая маленькая? - спросил он ее.

Люся растерялась.

- Не выросла, - сказала она.

И все кругом засмеялись.

- И вы здесь с тех пор ждете? - улыбнулся Рассохин.

- С тех пор.

- Не хотели уйти, пока мы не вернемся?

- Не хотела.

- Так, так, - проговорил Рассохин.

Он еще что-то собирался сказать, но тут зазвонил телефон.

- Товарищ капитан, командующий на проводе, - доложил Леша.

Рассохин взял трубку.

- Товарищи, - сказал он через минуту, кончив говорить по телефону, - командующий нас поздравляет с победой. Ни одна бомба не упала на трассу.

Печурка больше не топилась. Сенечкин все уже давно сжег: и книги, и книжные полки. В соседней комнате были выбиты стекла; оттуда веяло холодом, но Сенечкин к холоду стал равнодушен. Весь день он лежал под одеялом, одетый – в потрепанном коричневом пальто и светло-серой кепке. Он жестоко страдал от голода, но сознание того, что весь город страдает так же, как он, страдает, но не сдается, помогало ему переносить страдания. Он умрет, и многие умрут, но разве смерть – самое страшное? С теми, кто не боится смерти, ничего поделать нельзя. Любая сила рушится при столкновении с человеческим духом, с человеческой любовью и ненавистью. Он думал, что тем, кто готов умереть, достанется победа.

Уже близились сумерки, когда Сенечкин вдруг задремал. Он сам не заметил, как задремал, и не знал, сколько времени провел в дремоте. Вероятно, недолго, потому что, когда он внезапно открыл глаза, еще не совсем стемнело.

В передней скрипнул ключ в замке. Раздалось шарканье калош по полу. И мягкий голос Василия Степановича, как всегда, произнес:

– Это я, друг мой, я...

Сенечкин стремительно сорвал с головы кепку, спрятал ее под одеяло и закрыл глаза. Ему не хотелось видеть Василия Степановича.

«Уже умер? – подумал Василий Степанович, взглянув на Сенечкина. Остановился, прислушался. Сенечкин дышал. – Нет, пока еще жив. Спит».

Он вынул из кармана полученный по карточке Сенечкина кусочек хлеба, завернутый в обрывок газеты, и положил на подушку. Потом подошел к окну и посмотрел на свои часы. Оставалось четырнадцать минут.

Василий Степанович торопливо затемнил окно и зажег стоявшую на печурке коптилку. Вся мебель в комнате была уже сожжена, оставалась только кровать. Василий Степанович сел на край кровати, у ног Сенечкина.

Заметив на полу белый почтовый листок, он поднял его. На листке было нацарапано карандашом стихотворение. Василий Степанович наклонился к коптилке, поднес листок к свету и прочел:

Отлетело, отшумело, Поутихло – все пройдет. Сквозь привычный гул обстрела
Уж незримый хор поет. Все слышнее, все слышнее, Все слышнее голоса. Все яснее и
яснее И синее небеса. В этом пенье, в этом тленье, В этом холоде высот
Мирный миг уничтоженья Незаметно подойдет.

«Ну, вот и хорошо, – подумал Василий Степанович. – Смерть он называет – мирный миг уничтоженья. Значит, не очень мучается. А видно, совсем близко – уже хор какой-то слышит. Талантливо написано: «пенье – тленье». Я всегда говорил, что это талант».

Он опять взглянул на часы. Оставалось шесть минут.

Василий Степанович посидел еще немного, потом встал и ушел в соседнюю комнату, закрыв за собою дверь. Там он зажег фонарик. «Где же пальто и кепка Сенечкина? Они всегда лежали здесь. – Он несколько растерялся. – Неужели пальто там, у него?» Василий Степанович вернулся в комнату Сенечкина, закрыл за собой дверь и оглядел все углы: не было ни пальто, ни кепки.

«Надо бы растолкать его и спросить». Но прежде Василий Степанович еще раз поглядел на часы. Оставалось только две минуты.

Василий Степанович ужасно встревожился и заторопился. Будить Сенечкина нечего было и думать. Он открыл дверь в соседнюю комнату. Там, спеша и

поддерживая полы своей шубы, он вылез через разбитое окно на карниз и пропал.

Сенечкин увидел, что в открытую Василием Степановичем дверь юркнул кот. Он тотчас же соскочил с кровати и погнался за котом. В разбитом окне вспыхнул ослепительный свет, озаривший небо. При ярком зеленоватом свете перед Сенечкиным на мгновение мелькнули за окном крыши, шпили, башни, весь город, и он увидел Василия Степановича. Тот лежал у самого гребня ближайшей крыши, подняв руку вверх. Свет погас.

Сенечкин захлопнул дверь в соседнюю комнату и снова лег под одеяло.

Неподалеку рвались бомбы.

Проснулся Сенечкин только в середине следующего дня, со смутным ощущением тоски и тревоги.

«Плохо, – подумал он, открыв глаза. Что плохо, он и сам еще не знал. Его тошнило, болела голова, но не это было плохо. Плохо было что-то другое, что-то случившееся вчера. – Ох, как плохо!»

И вдруг туман разом рассеялся. И он вспомнил вспышку яркого света, и окно, и Василия Степановича на крыше с поднятой правой рукой.

Все это встало перед ним, как видение. Это видение больше не оставляло его ни на минуту.

Так пролежал он несколько часов, мучительно вспоминая одно и то же.

Он понял, что вовсе не был несчастлив, голодая и размышляя о неизбежной смерти. Он готов был бы теперь заплатить любую цену, чтобы вернуть то недавнее время, когда душа его была полна мечтами, полна сознанием величия всего того, что совершалось кругом. Он тогда не был одинок в этой одинокой комнатенке: он был прочно связан с удивительным несдающимся городом, он дышал, надеялся, верил заодно с каждым из его жителей. Он умирал, но и умирая он, при всей своей беспомощности, участвовал в общем подвиге народа.

Как легко, как чисто было у него на сердце! И как безнадежно одинок он сейчас, как безвозвратно несчастлив своею причастностью к тому, что случилось!

Он не пытался утешать или оправдывать себя тем, что причастен был невольно. Не все ли равно – вольно, невольно. Теперь он обязан прикончить все это дело. И он прикончит. Сегодня же. Он еще не знал, что сделает, но, приняв решение, несколько успокоился. А успокоившись, нечаянно снова заснул.

На этот раз проснулся он только вечером – от грохота упавшей бомбы. Немцы опять бомбили город. Штора на окне была спущена, коптилка зажжена, кусок хлеба лежал на подушке. Сенечкин понял, что Василий Степанович уже заходил. Где он? Неужели ушел?

Трещали зенитки, но треск их затихал, удаляясь. Налет кончился. Сенечкин вдруг понял, что Василий Степанович сейчас, вероятнее всего, как раз там, на крыше. Он вскочил с постели и кинулся в соседнюю комнату. Слабости он не чувствовал. Одним прыжком вскочил он на подоконник, за которым была черная звездная ночь.

Снег смутно белел во тьме, и только благодаря снегу можно было отгадать далекое дно двора внизу и соседние покатые крыши. Под окном вдоль всей стены дома тянулся узкий карниз, но Сенечкин никак не мог его разглядеть. Он знал, что Василий Степанович умеет ходить по этому карнизу, держась рукой за металлический провод, протянутый вдоль стены. Если дойти до угла, с карниза можно переступить на край соседней крыши.

Сенечкин хотел было ступить на карниз. Он даже сел и высунул за окно свои длинные тощие ноги в шерстяных носках. Но черная пропасть внизу была слишком страшна. Он замер в нерешительности, не зная, что делать дальше. И вдруг услышал близкое поскрипывание осторожных шагов. По карнизу шел человек.

В темноте ничего не было видно, и прошло довольно много времени, прежде чем Сенечкин различил неясные очертания шубы и шапки. Вблизи от окна Василию Степановичу нужно было преодолеть довольно сложное препятствие – водосточную трубу. Он обнял ее и медленно обогнул, прижимаясь к ней всем телом. Едва он сделал следующий шаг, как длинная нога Сенечкина метнулась перед самым его лицом.

Василий Степанович отпрянул в невыразимом испуге. Он снова обхватил рукою водосточную трубу и прижался к ней, напряженно вглядываясь во тьму. Но через минуту, узнав Сенечкина, овладел собой.

- Это вы! - воскликнул Василий Степанович без всякого раздражения в голосе. - Да что вы... Да разве можно в вашем состоянии лазить по окнам! Идите ложитесь в постель, дорогой мой.

- Я вам не «дорогой мой», - сказал Сенечкин яростно.

- Как вы возбуждены! - участливо проговорил Василий Степанович. - Что с вами? Ну, ну, успокойтесь, вам вредно. А я как раз шел и думал, что нужно принести вам дров и затопить, а то у вас холодно, как на улице. Я сейчас уложу вас в постель и посижу с вами. Подвиньтесь немного, я хочу влезть на подоконник.

И Василий Степанович снова сделал шаг от трубы к окну.

- Прочь! Не смей! - крикнул Сенечкин, и нога его опять метнулась перед лицом Василия Степановича. - Вы никогда больше не войдете в мою квартиру!

Василий Степанович вновь послушно отступил к трубе. Но на этот раз он ничем не выразил своего испуга. Напротив, он рассмеялся, и вполне добродушно.

- Неужели вы хотите, чтобы я навеки остался тут, на карнизе? - спросил он. - Тут долго не прстоишь. Как же мне выбраться отсюда?

- Как угодно, - сказал Сенечкин. - Мне дела нет, только не через мою квартиру.

- Ну хорошо, хорошо, я подожду, когда вы успокоитесь. Какие, однако, странные мозговые явления вызывает ваша болезнь! А я чудесно прогулялся, чудесно. Я так полюбил эти ночные прогулки над городом, что после войны мне трудно будет без них обходиться... Сегодня они неважно бомбили. Они стали слишком бояться зенитного огня. Редкий самолет добирается до центра города. Однако две бомбы сбросили довольно близко.

- При вашем содействии, - сказал Сенечкин.

- Как? - спросил Василий Степанович, словно не расслышал.

- Я говорю: при вашем содействии.

- То есть как?

- Да вот так! - гневно ответил Сенечкин. - Не ломайте петрушку. Хватит! Я все видел.

- Что же вы видели?

- Я видел, как вы пустили ракету.

- Когда?

- Вчера.

- Вчера видели впервые?

- Конечно, впервые.

- И прежде ни о чем не догадывались?

- Ясно, что не догадывался, раз позволял вам приходить ко мне.

Василий Степанович громко захохотал.

- Ну и недогадливы же вы, дорогой мой! Вот уж не ожидал! Я был убежден, что вы

давно обо всем догадались.

Сенечкин задрожал от бешенства и унижения.

- Вы были убеждены, что я обо всем догадался и... и... тем не менее знаюсь с вами?

- Естественно, дорогой мой. Я думал, что мы заодно.

- О! - простонал Сенечкин.

- Ведь я считал вас моим другом. Я и сейчас считаю вас моим другом. Подвиньтесь немного, я сяду рядом с вами на подоконник, а то у меня руки затекают, ведь я почти вишу на руках.

- Прочь! - снова закричал Сенечкин, размахивая ногой. - Если вы попытаетесь сделать еще шаг, если вы дотронетесь до подоконника, я вас спихну вниз.

Василий Степанович благоразумно отступил к трубе.

- Вот уж не думал, что вы способны на такое зверство, - сказал он. - Вы не слишком ласково со мной обращаетесь. Вы жестокий человек. Вы хотите меня убить? Сбросить с карниза? Напрасно. Впрочем, вас, вероятно, прельщает какой-нибудь более законный способ. Вы собираетесь обо мне сообщить?

- Конечно.

- Да, да, понятно. Ну в таком случае я вас несколько не опасаясь. Я убежден, что вы ничего не сообщите.

- Убеждены? Почему же?

- На вас это так, минутное затмение нашло. Больны. Ничего не поделаешь... Через час вы очнетесь, и мы вместе будем смеяться, вспоминая эту любопытную беседу двух друзей над пропастью в пять этажей.

Василий Степанович попытался отойти от трубы.

- Назад! - воскликнул Сенечкин. - Назад, сейчас же, или вы полетите вниз!

Василий Степанович несколько отступил, но не до самой трубы.

- Хорошо, хорошо, я не буду раздражать вас, - сказал он. - Я человек, вовремя отгадавший будущее. Я видел, что на нас идет сила, которую остановить невозможно. Я с самого начала полагал, что город будет сдан, и полагаю это теперь. Когда идет могучая волна, нужно не противостоять ей, а подняться на ее высокий гребень... Этот прекрасный город будет принадлежать мне и, скажем, вам, дорогой мой...

Сенечкин взмахнул ногой, но Василий Степанович почти не отодвинулся. Держась одной рукой за провод, он обхватил другой рукой ногу Сенечкина, осторожно и твердо привлек ее к себе, положив на плечо.

- У вас пятка жесткая, как у верблюда, - сказал он ласково. - Ну, ну, не лягайтесь, а то и впрямь меня спихнете. - Он шагнул вперед, крепко держа Сенечкина за ногу. - О чем я говорил? Ах да, я говорил о величии, которое ждет нас с вами... Не надо брыкаться, теперь уже поздно, не утомляйте себя. - Он тянул Сенечкина за ногу. - Ну зачем, зачем вы зря тратите силы, дорогой мой...

Он дернул за ногу и сорвал Сенечкина с подоконника. Слабо вскрикнув, Сенечкин полетел вниз и исчез в темноте.

Василий Степанович постоял, прислушиваясь, пока снизу до него не донесся звук глухого удара. Потом влез в окно.

Во дворе, засунув руки в карманы, стоял Павлик. Он видел, как взлетела ракета, и решил обойти дом кругом в последней надежде разгадать, каким образом ракетчик уходит с крыши. Зайдя в этот двор, он остановился, услышав наверху голоса.

В темноте ничего нельзя было разглядеть. Но Павлику показалось, что кто-то сидит на подоконнике одного из окон пятого этажа. Какая-то тень шевелилась у верхнего конца водосточной трубы. Голоса были довольно громки, но сколько Павлик ни вслушивался, он не мог разобрать ни одного слова.

Потом раздался крик, что-то темное пронеслось по воздуху и упало в двух шагах от него. Павлик замер и долго стоял, не решаясь сойти с места.

Все затихло кругом – ни шелеста, ни скрипа.

И Павлик осторожно двинулся вперед.

Он едва не споткнулся о человека, который лежал на снегу посреди двора. Человек этот не шевелился, не дышал.

Павлик вынул из кармана фонарик и направил на упавшего кружок света. Человек лежал, зарывшись лицом в снег.

Но лицо его Павлика не интересовало. Павлик мгновенно узнал коричневое пальто, светло-серую кепку и погасил фонарик.

Тот человек, за которым он следил столько времени, лежал перед ним мертвый. Ему незачем больше наблюдать за этой крышей.

Разгрому немецкой воздушной армады, пытавшейся совершить налет на ледовую трассу, газета балтийского авиасоединения, в состав которого входила эскадрилья капитана Рассохина, посвятила целую полосу. Полоса называлась: «Пятеро против сорока».

Газета утверждала, что хорошо построенная и отважно проведенная операция приводит к победе даже и в тех случаях, когда на стороне врага многократное численное превосходство. Незыблемость этого правила, писала газета, превосходно доказывает весь бой, проведенный эскадрильей капитана Рассохина во время массового налета неприятельской авиации на один из наших важнейших военных путей. Прежде всего был уничтожен вражеский разведчик. Затем два самолета, управляемые лейтенантом Карякиным и младшим лейтенантом Чепенковым, втянули неприятельские истребители в затяжную схватку и тем самым оставили неприятельские бомбардировщики без прикрытия.

Тут же, наверху газетной полосы, были помещены портреты Карякина и Чепенкова. Затем описывалось, как пять самолетов врезались в строй немецких бомбардировщиков, заставили их побросать бомбы в лес и обратили в бегство. В результате наша важнейшая военная коммуникация работала бесперебойно, враг получил жестокий урок и потерял четыре самолета. Один самолет сбили Карякин и Чепенков, другой – старший лейтенант Костин, и два остальных сбиты в процессе боя неизвестно кем лично. Наши потери – один самолет. Все наши летчики невредимы.

Полоса кончалась портретами четырех участников боя – Рассохина, Ермакова, Алексеева и Рябушкина. Портрета Костина не было.

Рябушкин увидел эту газету вечером у Люси в библиотеке. Потрясенный, он взял экземпляр и спрятал его в карман; ему не хотелось рассматривать свой портрет в присутствии посторонних. С газетой в кармане он направился в избу, где жил, зная, что в этот час там никого не бывает. В избе он затемнил окна, подбросил хворост в печь, зажег лампу, сел на свою койку и разложил газету на коленях.

Его круглое лицо в шлеме было изображено на портрете так смутно, что он, пожалуй, и сам бы себя не узнал. Но недостаток этот полностью искупался подписью под портретом: «Старший сержант Рябушкин, молодой летчик, недавно выпущенный из летной школы и уже сбивший вражеский самолет».

Рябушкин решил послать вырезку из газеты своей матери в город Камышин. Он уже приготовил конверт, как вдруг подумал – не сказано ли в статье про то, как он хотел таранить два «Юнкерса» и проскочил между ними, закрыв глаза? Он внимательно прочел статью. Там этого не было. Но тут он сбоку заметил другую статейку, озаглавленную «Потеря осмотрительности».

Статька эта была посвящена теоретическому вопросу – как важно быть осмотрительным в воздухе – и, казалось, к недавнему бою над озером никакого отношения не имела. В доказательство того, к каким гибельным последствиям приводит потеря осмотрительности, описывался случай, который произошел на одном из наших фронтов, неизвестно где, может быть, под Мурманском, а может быть, на побережье Черного моря. Некий летчик К., сопровождаемый летчиком А., преследовал и атаковал «Юнкерс». Увлеченный погоней за «Юнкерсом», летчик К. ни разу не оглянулся, не поинтересовался, что делает его ведомый летчик А., и не заметил, что их обоих сзади атаковали два «Мессершмитта». Летчик А., оставленный своим ведущим, вынужден был принять всю атаку на себя. Однако он не в состоянии был задержать два вражеских самолета, и один из «Мессершмиттов» внезапно атаковал летчика К. как раз в ту минуту, когда тот сбил «Юнкерс». Самолет летчика К. погиб, а сам К. спасся только благодаря счастливой случайности.

Эта статейка поразила Рябушкина. «Нет, тут что-то не то, – подумал он. – Тут

напутано. Бедный Костин! Нужно сейчас же что-то сделать».

Но что сделать, он не знал...

После боя над озером Костин перестал заходить в библиотеку. Положенные часы проводил он на аэродроме, на командном пункте, в столовой, а все остальное время лежал на своей койке и читал «Трех мушкетеров». Читал он спокойно, равнодушно и, когда Рябушкин спрашивал его, нравится ли ему книга, отвечал односложно. Вообще он стал очень неразговорчив.

Зато Алексеев посещал библиотеку еще чаще, чем раньше. Он садился на край Люсиной койки и неторопливо занимал Люсю разговором. Говорил он обычно о своих вещах, изяществом которых очень гордился: об эстонской зажигалке; о зеркальце в форме сердца; о часах, на задней крышке которых была изображена красавица, выходящая из воды; о фуражке, сшитой из особо мягкого сукна; о ноже, на клинке которого было выгравировано его имя. Все эти удивительные вещи он показывал Люсе. Она вежливо рассматривала их.

С тех пор как Костин перестал посещать библиотеку, она опустела. Чепенков и Рябушкин забегали только на минутку – спросить, нет ли писем. Из прежних вечерних завсегдатаев, кроме Алексеева, осталась лишь Нюра толстая. Она появлялась немедленно, чуть приходил Алексеев, и останавливалась возле двери, чтобы смотреть на него, шумно вздыхать и топтать ногами. И Алексеев по-прежнему не обращал на нее никакого внимания.

Глаза его за последнее время как-то особенно блестели. Вообще вид у него был очень довольный и уверенный. Он часто говорил, что нельзя так тоскливо жить, как живут на аэродроме, что ему хочется веселья, музыки. Вскоре он стал приводить с собой в библиотеку писаря строевого отдела Еремчука, который приносил патефон.

Алексеев любил патефон и не сомневался, что Люсе он доставляет такое же удовольствие, как и ему. Пластинок было всего семь, и они заводились попеременно.

Когда Рябушкин, прочитав газету, вышел на улицу, он сразу услышал отдаленные звуки патефона. Рябушкин еще не ужинал, и по пути в столовую ему предстояло пройти мимо домика санчасти. Чем ближе он подходил к нему, тем громче слышался патефон.

Не дойдя шагов десяти, он увидел, что перед крыльцом санчасти кто-то стоит. Поравнявшись с крыльцом, он узнал Костина.

– Это вы? – удивленно воскликнул Рябушкин.

Костин вздрогнул и отступил в темноту. Но поняв, что поздно, что он узнан, ответил:

– Я.

Они стояли друг против друга и молчали, оба смущенные.

– Я хотел вам сказать... – вдруг заторопился Рябушкин. – Я шел вам сказать... Это неправда...

– Что неправда? – спросил Костин.

– А вот то, что написано в газете...

– Нет, это правда.

– Да нет... – продолжал Рябушкин, торопясь. – Я видел... Я сейчас вспомнил... я хотел вам сказать... Это неправду про вас написали... Не знаю, кто дал такие сведения, но думаю...

- А я знаю, - перебил его Костин.

- Кто?

- Я.

Рябушкин опешил.

- Меня по телефону спросили из редакции, правда ли, что я не оглядывался, - спокойно пояснил Костин. - И я сказал, что да, правда. Я действительно не оглядывался. Это моя вина. Всегда оглядывайся, Рябушкин, даже если твой хвост охраняет самый опытный летчик.

Рябушкин растерянно слушал его. Что-то мешало ему согласиться.

- И все-таки это неправда... - повторил Рябушкин убежденно. - Ведь я же сам видел...

Но договорить ему не удалось, потому что дверь домика внезапно распахнулась и оттуда вместе с патефонным грохотом вырвались на улицу Алексеев и Еремчук. На вытянутых руках Еремчука лежал раскрытый играющий патефон. Алексеев шел впереди.

Они увидели стоящих перед крыльцом Костина и Рябушкина и на мгновение приостановились. Лица Алексеева в темноте разглядеть было нельзя, но почему-то и Рябушкину, и Костину показалось, что он усмехнулся.

- Девушки предпочитают героев, - произнес Еремчук нарочито громко, ни к кому не обращаясь.

И они ушли в темноту, наполняя просторное черное небо патефонным хрипом.

Костин и Рябушкин зашагали к столовой.

- Д'Артаньян вызвал бы его на дуэль, - сказал Рябушкин.

- Кого? Еремчука?

- Нет, не Еремчука, а...

Имени Алексеева Рябушкин не произнес.

- На чем бы мы стали драться? На самолетах? - спросил Костин.

- Нет, материальную часть губить нельзя, - сказал Рябушкин.

- На пистолетах «ТТ»? Через платок?

Они оба рассмеялись.

- Ну дуэль, конечно, глупости, - сказал Рябушкин. - Но все-таки так оставить нельзя. Я видел... И я доложу.

- Ничего ты не видел, - остановил его Костин сердито. - И ничего ты не доложишь. Я запрещаю.

Когда Алексеев и Еремчук ушли, Люся и Нюра толстая остались в библиотеке вдвоем.

- Как я тебя иногда ненавижу! - сказала Нюра.

Люся взглянула на нее удивленно.

- Меня? За что?

- Не всегда. Я говорю, иногда.

- Иногда?

- Ну да, иногда. Очень редко, но очень сильно. А большей частью я понимаю, что тебе все равно... Ведь тебе все равно?

- Что все равно?

- Что Вадим за тобой ухаживает.

- Алексеев? Все равно, - сказала Люся.

- Я вижу, что тебе все равно. И тогда я тебя люблю.

- И я тебя люблю! - сказала Люся.

Она подошла к Нюре и положила обе руки ей на плечи, глядя в ее широкое лицо.

- Как бы я хотела, чтобы он был несчастен, - сказала Нюра.

- Несчастен?

- Тогда он увидел бы, кто его любит. - Она помолчала. Подумала. - Но чтобы не долго несчастен, - прибавила она. - Чтобы все кончилось хорошо...

На имя лейтенанта Тарараксина пришло еще одно письмо из Ленинграда. Но на этот раз адрес эскадрильи был написан правильно, и, судя по штемпелю, письмо шло всего несколько дней.

После завтрака Люся понесла письмо на командный пункт. В комнатке оперативного дежурного Леша разговаривал сразу по двум телефонам. Третий телефон заливался нетерпеливым звоном.

Увидев Люсю, Леша улыбнулся ей, не отрываясь от трубок, и продолжал говорить. Понимая, что он не скоро кончит говорить, Люся поднесла письмо к его лицу. Он улыбнулся еще шире и глазами попросил положить письмо на стол.

Выйдя из землянки командного пункта, Люся пошла вверх по склону холма к могиле Никритина. Она была уже там несколько раз, всегда выбирая время, когда на аэродроме мало народа и никто за ней не наблюдает. Сегодня день был тусклый, нелетный, только несколько техников возилось возле рефуг у самолетов, и она добралась до вершины бугра, никого не встретив.

Могила была замечена снегом; лишь круглый валун торчал из-под снега да успевшая уже потемнеть дощечка, на которой выведено было имя Никритина. Молодой белозубый краснофлотец в тулупе улыбнулся Люсе из-под широкого металлического шлема; на груди у него висел автомат, в руках он держал бинокль. Люся улыбнулась ему в ответ.

Она остановилась у могилы и поглядела во все четыре стороны. Радостное чувство простора охватило ее. Под угрюмым зимним небом лежали леса, рябые от снега. Там, за лесами, белела равнина озера. Если бы день был немного яснее, Люся увидела бы отсюда, с вершины бугра, и дорогу, проложенную через озеро, – движущиеся точки автомашин. Но сегодня ничего отчетливо разглядеть было нельзя, да Люся и не оглядывалась, с нее довольно было радости пространства – той радости, которую знали все летчики, окружавшие ее, и он, лежавший под этим камнем.

– Вы давно с ним познакомились?

Люся обернулась. Краснофлотец стоял возле нее и смотрел на нее сочувственно и дружелюбно.

– Не знаю, – сказала Люся. И, заметив удивление в глазах краснофлотца, прибавила: – Я не слышала его голоса. Если бы я слышала его голос, знала бы наверное.

Она видела, что краснофлотец удивился еще больше, и улыбнулась.

Да и что она могла объяснить. Она ничего не знала. Но по мере того, как возвращались жизнь и здоровье, все больше казалось ей, что человека, которого она любила, нет под этим камнем, что она его еще увидит.

Спускаясь с бугра, она издали заметила у входа в командный пункт долговязого Лешу Тарараксина. Странно была видеть его не под низким потолком землянки, а под открытым небом. Ветер трепал полы его длинной шинели. Он глядел во все стороны и, увидев Люсю, радостно замахал ей какой-то бумажонкой.

– Она нашлась! – закричал он еще шагов за двадцать.

Люся поняла, что он говорит о своей двоюродной сестренке, и подошла к нему.

Он был так рад и взволнован, что, видимо, не усидел у себя в подземелье.

– Он мне пишет, что нашел ее и что она живет у него.

- Кто пишет? - спросила Люся.

- Дядя. Такое славное письмо. Все грехи ему простятся за то, что он ее нашел. Я поеду и привезу ее сюда.

- Вы поедете за девочкой?

- Если командир мне разрешит. Слушайте, я сразу подумал о вас. У меня вся надежда на вас...

- А не лучше ли оставить ее у дяди?

- Нет, нет! Он сам просит, чтобы я приехал за ней. Ему нечем ее кормить... Славное письмо...

Он еще что-то хотел сказать, но тут дверь землянки приоткрылась, и чей-то голос крикнул:

- Лейтенант Тарараксин, к телефону!

- У меня вся надежда на вас! - повторил Леша, улыбаясь, и, согнувшись, сбежал вниз.

В мхурые дни, когда незачем было дежурить на аэродроме, весь летный состав эскадрильи обедал одновременно. Командир и комиссар садились во главе стола. Летчики останавливались в дверях и просили разрешения войти.

- Войдите, - каждому говорил Рассохин.

В этот день капитан Рассохин принес с собой газету. Он разложил ее перед своей тарелкой и уставился в нее, хотя странно было предположить, что он не прочел газету еще вчера вечером. Он был не в духе, и все это видели. Летчики молча ели суп, ожидая, когда командир заговорит. Но командир молчал.

Один Карякин не боялся молчания командира. За обедом он любил поговорить.

- Хвалят нас, товарищ капитан, - сказал Карякин, кивнув в сторону газеты.

Рассохин поднял голову и посмотрел на Карякина.

- Хвалят? - переспросил он. - Пожалуй, хвалят. А я бы не хвалил. Я бы год молчал о нас, пока позор не смоем.

После этих слов стало еще тише, чем было раньше. Рассохин опять уставился в газету. И вдруг сказал:

- Не пятеро против сорока, а четверо против сорока.

«Кого он не считает? Неужели меня? - подумал Рябушкин. - Или, может быть, Костина?»

- Рябушкин! - сказал Рассохин.

Рябушкин вскочил, громыхнул стулом и вытянулся.

- Садись! - («Слава богу, «садись», а не «садитесь», - подумал Рябушкин и сел). - Ты «Юнкерсы» таранил в квадрате «Д»?

- Я не таранил, товарищ капитан... То есть я собирался, но... Ведь вы знаете...

- Я тебя не о том спрашиваю, - перебил его Рассохин с досадой. - Где это было? В квадрате «Д»?

- Так точно, товарищ капитан.

- А Костин был сбит тоже в квадрате «Д»?

Рябушкин молчал.

- Я тебя спрашиваю - ты видел или не видел, как сбили Костина?

- Как сбили, не видел.

- Так... А что-нибудь все-таки видел?

- Я... мало видел, товарищ капитан. - Голос Рябушкина звучал неуверенно. - Когда патронов у меня не осталось и горючего едва-едва, чтобы добраться до аэродрома, я повернул и очень далеко, гораздо выше себя, увидел «Юнкерс». Он шел к линии фронта. А за «Юнкерсом» почти вплоты шел «ишак». А за «ишаком» - «Мессершмитт»... Я их очень недолго видел, с минуту, не больше, и они скрылись...

- Один «Мессершмитт»? - допытывался Рассохин.

- Один, товарищ капитан.

- И второго там не было?

- Не видел, товарищ капитан.

- А «ишак» тоже был один?

- Тоже один, - уверенно ответил Рябушкин.

- Это уже привычка, - проговорил Рассохин.

Никто не понял, что он хотел сказать, и все продолжали молчать.

- Я говорю, что это уже привычка, лейтенант Алексеев! - сказал Рассохин.

Алексеев встал. Рассохин не предложил ему сесть и молча смотрел снизу вверх в его побелевшее лицо.

- Какая привычка, товарищ капитан? - еле слышно спросил Алексеев.

- Привычка не быть там, где надо драться.

Алексеев открыл рот. Неизвестно, что он собирался сказать.

- Я вас не спрашиваю, лейтенант Алексеев, - перебил его Рассохин.

Алексеев закрыл рот.

- Привычка, потому что это уже во второй раз за один вылет, - продолжал Рассохин. - Четверо против сорока, а не пятеро против сорока. Когда мы двинулись на «Юнкерсы», я оглянулся. За мной шли только трое.

При этих словах Алексеева вдруг качнуло, и он схватился за спинку стула, чтобы устоять.

- Лейтенант Алексеев перед атакой взмыл вверх и прошел над «Юнкерсами», - сказал Рассохин.

Тут внезапно заговорил Костин.

- Товарищ капитан, когда мы прорвались сквозь строй «Юнкерсов», Алексеев шел за мной, - сказал он. - Я обернулся и видел.

- Он пристроился к тебе, когда опасность миновала, - ответил Рассохин. - А когда появился «Мессершмитт», он снова бросил тебя.

Опять наступило молчание. Алексеев продолжал стоять, но что с ним творилось - никто не видел, потому что каждый смотрел к себе в тарелку.

- Товарищ капитан, если я опозорил себя... - начал Алексеев так тихо, что в конце стола, где сидел Рябушкин, еле было слышно.

- Вы не только себя опозорили, вы нас опозорили! - сказал Рассохин каким-то не своим, чужим голосом.

- Товарищ капитан...

- Трус! - крикнул Рассохин.

Алексеев, закрыв лицо ладонью, медленно пошел к двери. Никто не шевельнулся, пока он проходил мимо длинного стола, никто не взглянул на него.

В дверях Алексеев остановился.

- Товарищ капитан, я смою... - сказал он.

Рассохин уже обмяк. С жалостью и брезгливостью он смотрел на Алексева.

- Да как такое смоешь? - тихо проговорил он. - Разве что кровью...

Вечером, сидя у себя в комнате, Люся услышала в сенях тяжелые шаги.

- Нет, ты зайдешь, командир, - загремел голос Ермакова. - Болен, так надо лечиться. Ты дурной пример подаешь. Глядя на тебя, никто лечиться не станет.

- Брось, комиссар, пустяки, - послышался в ответ голос Рассохина. - К утру пройдет. Я иду домой.

- Постой, постой! - закричал Ермаков. - Эй, Липовец!

Слышно было, как распахнулась дверь санчасти. Доктор Липовец вышел в сени.

- У тебя есть что-нибудь от головной боли? - спросил его Ермаков.

- Пирамидон, кофеин, фенацетин... - поспешно заговорил Липовец.

- Да постой же, командир. Он сейчас тебе принесет. Поскорей, пожалуйста, доктор. Порошков там каких-нибудь. Температура у него нормальная, но с обеда такая головная боль, что стонет.

Дверь скрипнула. Липовец ушел.

- Здесь что? - спросил Рассохин. - Библиотека?

- Будет библиотека, - сказал Ермаков. - На днях за книгами в город пошлю.

- Она здесь живет? - поинтересовался Рассохин.

- Здесь. А что?

- Славная девушка.

- Конечно, славная.

- Может, и хуже, что славная...

- Как так?

- Она многим нравится. Костину нравится. И этому... ферту...

- Да наплюй ты на него! - возмутился Ермаков. - Брось ты про него говорить!

- Как ты думаешь, может быть, ей следует уехать? - спросил Рассохин.

- Нет, не думаю, - решительно ответил Ермаков.

- И я не думаю, - согласился с ним Рассохин.

В это время в сени вышел Липовец и, страшно довольный, что наконец и он пригодился командиру, стал объяснять, как принимать порошки.

Машины шли одна за другой между двумя зубчатыми рядами елей, рыча, воя, размалывая рыхлый снег. Все они только что пересекли озеро и теперь двигались к городу, таща лилово-рыжие замерзшие мясные туши, длинные авиабомбы – каждая в отдельной деревянной клетке, ящики со снарядами и мешки, мешки, мешки с мукой. Машины выплывали из утренних сумерек, и ни на одну из них не хотели посадить Люсю.

Она стояла у дороги в своей шубке и шерстяном платке, щупая в кармане паспорт, деньги и кучу бумажек, которые надавал ей Ермаков: командировку, доверенность, справку о праве приобретать книги по счетам и тому подобное. Она робко подымала руку перед каждой машиной, заглядывала в стекло кабины, но машины проносились мимо. Время шло. Быстро светало. А Люся все стояла на одном месте.

Высокий человек во флотской шинели, торопливо шагая, прошел мимо нее.

- Леша! – воскликнула она. – Вы в город?

Он обернулся и удивленно посмотрел на нее.

- Да. А вы?

- Я тоже... Но никто не берет...

- Я вас посажу. Идите за мной.

Она едва поспежала, шагая за ним по рыхлому снегу. Он довел ее до регулировщика-красноармейца с повязкой на рукаве, распорядившегося движением машин. По просьбе Леша регулировщик остановил первую же проходившую машину.

Леша мгновенно вскочил в кузов, протянул Люсе обе руки и втащил ее в кузов. Она села рядом с ним на раскрытый ящик и тогда только заметила, что в ящике снаряды. Машина помчалась, и снаряды зашевелились в ящике, подскакивая при каждом толчке. Люся никогда еще не ездила, сидя на снарядах, и не знала, могут ли они от толчков взорваться. Она украдкой взглянула на Лешу, Леша сидел на ящике с таким беззаботным и счастливым видом, что она сразу успокоилась.

- Как я рад, что мы встретились, – сказал он, сияя всем своим большим лицом.

- Я тоже рада, – ответила Люся. – У меня вся надежда на вас.

- А у меня на вас. Я уже говорил вам... Я все обдумал... Вы единственный человек, который может мне помочь.

- А вы мне. Вы сегодня вернетесь на аэродром?

- Конечно. Капитан отпустил меня только до вечера. А вы вернетесь?

- Я... – начала было Люся, но Леша перебил ее:

- Что я спрашиваю? Ну конечно, вернетесь.

- Я не знаю... – сказала Люся. Но он снова перебил ее:

- Назад мы поедем втроем: вы, Эрн и я.

- Девочку зовут Эрн? – спросила Люся.

- Да. Вот теперь вопрос: как ее устроить? Не могу же я ее поселить у себя на командном пункте! – Он рассмеялся. – И потом, я совсем не умею ухаживать за детьми... Нет, вы только подумайте: девочка тонула, потеряла мать, столько

месяцев живет под бомбежкой и, главное, голодная, может быть, еле живая... Тут такой человек, как я, не годится. Нет, нет! Тут нужна женщина...

- А ваш дядя непременно хочет, чтобы вы ее взяли?

- Конечно, хочет, да и я хочу, - говорил Леша. - У меня ей будет сытнее, да мне легче с ней делиться, чем ему. Он пишет, что кормит еще какого-то мальчика из детского дома. Дядя, кажется, хороший человек, и я был к нему несправедлив. Знаете, что мне больше всего понравилось в его письме? Он жалеет о том случае с пиджаком, и так чистосердечно...

Уже совсем рассвело, и хорошо было видно, какое множество машин тянулось по дороге к городу. Это был могучий поток, несущий жизнь. Машины заполняли всю дорогу и потому двигались неторопливо.

Неторопливо въехали они и в город. Ленинград встретил Люсю и Лешу пустыми впадинами выбитых окон. Машины пошли еще медленнее, потому что окраинные улицы были перегорожены сложенными из камней баррикадами с узкими проездами, оставленными посередине. В прочих каменных домах, преимущественно на углах, окна были почти доверху заложены кирпичами, превращены в узкие бойницы. Леша, несколько месяцев не видавший города, с любопытством озирался. Его, как и всякого, попадавшего в Ленинград в то время, поразили не столько дома-бойницы и баррикады, сколько лица людей. Истощенные женщины двигались по улицам, словно тени. В их измученных лицах не было ничего страдальческого, жалкого. Это были суровые лица, гордые, даже надменные. Это были лица людей, которые выносили величайшие муки, когда-либо выпадавшие на долю человека, и не склоняли голов.

Машина шла уже по набережной над широкой заметенной снегом Невой, когда Люся, прервав молчание, попросила Лешу отвезти на аэродром книжки, которые она купит.

- Я принесу их на квартиру к вашему дяде, а вы, когда поедете, захватите с собой. Хорошо?

Леша удивился.

- Конечно, я помогу вам тащить книги. Но вы разве не поедете со мной?

- Я не вернусь, - отрывисто сказала Люся и отвернулась.

Леша растерялся.

- Да что вы! Как же мне теперь быть? Ведь я рассчитывал, что вы возьмете девочку, что она будет жить вместе с вами...

Он замолчал, потому что плечи Люси вздрогнули, и ему показалось, что она плачет.

- Так лучше, - через минуту сказала она.

- Где же вы будете жить? - спросил Леша.

- Здесь... Не знаю... Я еще не думала об этом.

- Но почему? Почему? Разве вам плохо было у нас?

- Нет, хорошо. Удивительно хорошо.

- Так отчего же вам не вернуться?

- Капитан Рассохин не хочет, чтобы я вернулась...

- Не может быть! Он это вам сам сказал?

- Нет, не говорил.

- Он сказал кому-нибудь, и вам передали?

- Нет, никто не передавал. Но я знаю. Он думает, что я могу принести вред эскадрилье...

Плечи ее снова вздрогнули.

- Это неправда! - воскликнул Леша. - Это вы сами все выдумали!

- Не будем говорить об этом, - попросила она спокойно. Потом обернулась к Леше, посмотрела на него покрасневшими глазами и прибавила: - А мне так хотелось взять к себе вашу сестренку...

Василий Степанович все лето и всю осень был уверен в захвате Ленинграда немцами. Но теперь эта уверенность пропала. Существовала дорога через Ладожское озеро. По ней шел хлеб, шло оружие. Город жил и боролся.

Василий Степанович в письме назначил Леше свидание на набережной возле сфинксов в два часа дня.

- Эрна, ты будешь дома, голубушка моя? - спросил он, застегивая шубу и надевая калоши.

Эрна молча кивнула головой, взглянув на него исподлобья.

- Ты здесь умойся без меня, а то вон ты какая чумазая стала. Умоешься?

Эрна молчала.

Василий Степанович нагнулся и поцеловал ее в макушку.

«Неприятная девочка, - подумал он. - Как каменная, слова из нее не вытянешь». А между тем ему все время приходилось изображать, что он очень ее любит. Он был рад, что сегодня с ней расстанется. Однако о том, что идет на свидание с Лешей, он не сказал ей ни слова.

Леша уже прохаживался взад и вперед по узкой протоптанной тропинке на заметенной снегом набережной. Дядя и племянник заметили друг друга издали. «Только бы этот болван опять не вспомнил про пиджак», - с тревогой подумал Василий Степанович. Но увидев широкое улыбающееся лицо Леша, сразу успокоился.

- Ну-ка, покажись, покажись! - Василий Степанович правой рукой тряс Лешину руку, а левой хлопал его по плечу. - Летаешь? Я так за тебя беспокоился.

Он отлично знал, что Леша не летает, а с утра до вечера сидит в землянке за телефоном, но знал также, что тот ни за что в этом не признается.

- Угу, - неопределенно и в некотором замешательстве ответил Леша. И сразу спросил: - А где же она?

- Ах, она дома, - сказал Василий Степанович с оттенком грусти в голосе. - Я ей еще ничего не говорил. Не хочу ее тревожить. Она, видишь ли, такая странная девочка...

- Странная?

- Да, очень странная. После всего пережитого... Ребенку ведь нелегко оправиться от таких впечатлений.

- Да, да, да! - с жаром воскликнул Леша. - Тут подход нужен. Самый деликатный, самый тонкий.

- И доброта, - растроганно добавил Василий Степанович.

- Вот именно, доброта. Только доброта. Вы это очень верно сказали, дядя Вася! - восторженно подхватил Леша. - Терпение и доброта...

- Конечно, конечно! - подтверждал Василий Степанович. - Потому я ей и не говорил, что ничего еще не решено.

- Как не решено, дядя Вася? Я ее сегодня же у вас забираю. Пойдемте, я хочу посмотреть на нее.

Он потащил Василия Степановича за рукав.

- Нет, нет, постой, постой. Я так, с маху, таких ответственных шагов не делаю, - возразил Василий Степанович. - Она ведь не собачонка, не котенок. Я должен быть убежден, что ей у тебя будет хорошо...

- Дядя Вася...

- Ну, признаю, что у тебя там больше возможностей кормить ее, чем у меня, - вздохнув, продолжал Василий Степанович. - Но ведь ты человек молодой, опыта у тебя в обращении с детьми никакого...

- Я и сам очень хорошо это понимаю, - сказал огорченно Леша. - Когда я сюда ехал, у меня был один план, отличный план, но... У нас, видишь ли, живет одна девушка, прекрасная девушка, и я хотел, чтобы Эрна поселилась у нее. Но тут вышло глупое недоразумение, и девушка эта сказала, что больше к нам не вернется. Нет-нет-нет, дядя Вася, я уговорю ее, не может быть, чтобы мне не удалось ее уговорить! Она скоро придет к тебе на квартиру, ты познакомишься с ней, и мы вместе уговорим ее!

- Вот видишь, какой ты неосновательный человек, Леша, - сказал Василий Степанович. - Ничего у тебя не подготовлено, ничего не договорено, а ты хочешь взять девочку. Я жалею, что написал тебе это письмо.

- Дядя Вася!

- Да-да, жалею... И... вообще жалею.

- Я не понимаю вас, дядя Вася!

- Я не рассчитал своих сил. Я не могу с ней расстаться. Я привык к ней, полюбил ее. Ведь я одинокий старик, пойми меня, Леша...

- Понимаю, дяди Вася, но...

- Когда я послал тебе письмо, то сразу же об этом пожалел. Я понял, что не в состоянии расстаться с ней, не видеть ее... Нет, нет, ни за что!

Он махнул рукой, повернулся и быстро пошел прочь по набережной.

Леша побежал за ним.

- Почему же не видеть, дядя Вася? - говорил он, стараясь от него не отстать. - Ведь мы стоим недалеко отсюда, под городом... Вы могли бы видеться...

При этих словах Василий Степанович остановился.

- Я мог бы время от времени привозить ее к вам... - продолжал Леша.

Но Василий Степанович уже опять передумал:

- Таскать больную, слабую девочку в город? Нет, нет и нет! Я твердо решил! Я ухожу!

И он еще поспешнее зашагал прочь.

- Постойте, дядя Вася! Куда же вы? Можно как-нибудь иначе устроить...

- Иначе? - переспросил Василий Степанович и остановился. - Как же иначе? Конечно, если можно сделать, чтобы я приезжал к вам...

- К нам? Видите ли, дядя, тут есть одно неудобство. У нас к посторонним строго... не допускаются... Но я ведь могу поручиться за вас. Я добьюсь, что вы будете приезжать!..

Василий Степанович наконец сдался.

- Ну, если так... - сказал он. - Если это можно устроить... то, пожалуй...

Он взял Лешу под руку и повел его к своему дому.

Когда книги запаковали и перевязали, сверток оказался таким тяжелым, что Люся не могла его поднять. Она вспомнила советы Ермакова и большую часть купленных книг оставила на хранение в магазине, а выбрала только самое необходимое, чтобы отнести Леше и сегодня же доставить на аэродром. Продавщица в платке и шубе, с растрескавшимися руками, перепакowała книги заново. День был морозный, и все же в магазине было гораздо холоднее, чем на дворе. С большой связкой книг Люся вышла на улицу.

Трамваи не ходили. Улицы были засыпаны снегом. Люся медленно побрела по узким тропинкам, протоптанным возле стен. Книги оттягивали ей руки, и время от времени она останавливалась, чтобы передохнуть. Навстречу ей, со стороны Невы, шли женщины и несли ведра с водой. Водопровод в городе замерз, и воду брали в прорубях Невы. Вода выплескивалась из ведер, замерзала, и улицы, прилегающие к реке, были покрыты коркой льда. Люди скользили и падали, и Люся скользила, размахивая связкой книг, чтобы удержаться на ногах.

Все утро провела она в хлопотах о книгах, и это несколько рассеяло ее. Но теперь прежние мысли нахлынули снова. Да, она решила не возвращаться на аэродром. Прощай, милая комнатка, ракета за окошком. Прощайте, добрые смелые люди, которые спасли ее и выходили. Она вас никогда не забудет, но не вернется, не будет причиной раздора в эскадрилье.

Она еще успеет подумать, как ей жить дальше. Найдет какую-нибудь старую подругу, вместе с которой рыли траншеи, и посоветуется. У нее ведь есть еще одно дело, прямая ее обязанность, до сих пор не исполненная, – найти брата Павлика. Если только он жив. Люся искала его много дней перед тем, как пойти через озеро, но разве тогда, еле живая, она искала его так, как нужно?.. Вероятнее всего, он умер, давно уже умер.

Думая о Павлике, Люся перешла Неву по длинной тропке на льду. Книги были тяжелые, и она очень устала. Трудно дыша, она поднялась на набережную и пошла по улице, прямой и пустынной. И вдруг далеко впереди себя заметила спину мальчика, который шел в одном с ней направлении.

- Павлик! – крикнула она.

Но голос у нее от усталости был слабый, а уши мальчика закрыты шапкой. Он не обернулся. Собрав все силы, она побежала.

Мальчик шел быстро и свернул за угол, как раз туда, куда нужно было свернуть и ей. Она добежала до угла и опять далеко впереди увидела его. Здесь где-то должен быть дом, в котором живет Лешин дядя. Задыхаясь, Люся бежала, поглядывая на номера домов. Вот он, этот дом. Мальчик свернул в парадное.

- Павлик! – крикнула она, вбежав вслед за ним. Наверху гремели засовом, звучали мужские голоса.

Она, торопясь, поволокла книги вверх по лестнице и остановилась перед распахнутой настежь дверью квартиры на пятом этаже.

Там, за дверью, в полумраке квартиры, метался большой мужчина в шубе и кричал в бешенстве:

- Удрала! Нашла время, когда удрать!

- Что ж это такое, дядя Вася? – услышала Люся растерянный голос Леша. – Почему же она удрала? Куда она могла деться?

Люся вошла в темную переднюю и остановилась. Оглядываясь, Леша узнал ее.

- Понимаете, Эрна удрала! - сказал он. - Вы понимаете?.. Я ничего не понимаю...

И тут Люся снова увидела Павлика. Он вылетел из комнаты и крикнул:

- Я знаю, где она!

Ни на кого не глядя, он выскочил на лестницу и побежал вниз.

Люся сунула книги Леше и кинулась догонять Павлика.

Алексеев сбрил бачки. Все подивились, глядя на его бритое лицо, но никто не сказал ни слова.

Алексеев молча сидел на командном пункте, молча вставал по утрам и молча ложился спать, хотя койки товарищей стояли рядом. Он ни с кем не заговаривал, и никто не заговаривал с ним. В его отсутствие тоже никогда о нем не говорили.

Некоторые думали, что Рассохин даст ему какое-нибудь взыскание. Но Рассохин взыскания ему не дал и больше о нем не упоминал, будто Алексеева не существовало.

Алексееву казалось, что он живет в пустоте. словно между ним и окружающим нет никакого соприкосновения, словно непреодолимая стена отделяет его от всего мира. Он и не пытался разбить эту стену. И когда такую попытку сделала толстая Нюра, он остался безучастен.

Нюра сидела у стола в приемном покое и плакала. Она нисколько не скрывала своих слез. И на них никто не обращал внимания: все знали, почему она плачет. Один только доктор Липовец по временам вздыхал с упреком. Но и он не сказал ей ни слова, не хотел беспокоить ее и даже сам подмел пол в санчасти.

В сумерках Нюра вышла на улицу. В этот час летчики обычно возвращались с аэродрома в деревню на ужин. Иногда они ехали на полуторатонке, иногда шли пешком.

Нюра медленно направилась им навстречу, по дороге к аэродрому.

Она встретила полуторатонку с летчиками и посторонилась. Алексеева в кузове не было. Она пошла дальше.

Скоро Нюра его увидела. Он шагал по дороге один, и, когда поравнялся с нею, она его остановила.

- Вадим... Вадим Петрович!.. Дима!..

Он повернул к ней свое бритое лицо и посмотрел на нее стеклянными, ничего не говорящими глазами.

И ушел.

Многие думали, что Рассохин отстранит Алексеева от полетов, как отстранил он когда-то Рябушкина. Но Алексеев принял участие в первом же боевом вылете.

Вылетели двумя парами - Карякин и Чепенков, Костин и Алексеев.

Проверяя перед вылетом свой мотор, Алексеев заметил, что Костин смотрит на него. «Чего это он смотрит? - подумал он. - Смеется, что я проверяю мотор?»

И сразу же прекратил проверку.

Они шли над озером, когда Алексеев услышал в своем моторе перебои. Что случилось, он определить не мог. Мотор тянул слабее обычного, и его приходилось то и дело форсировать. Если бы это случилось несколько дней назад, Алексеев не колеблясь вернулся бы на аэродром. Так поступил бы всякий, и был бы прав. Но сегодня о возвращении он не смел и думать.

Алексеев шел за самолетом Костина. Они прошли над дорогой, вышли на южный берег озера и пересекли линию фронта. Держась низко над лесом, Костин вел четверку в глубь захваченной территории для штурмовки путей, по которым немцы подвозили к фронту свои войска.

Костин впервые шел на штурмовку без Рассохина и старался поступать так, как поступал бы Рассохин. Он скрытно, над лесом, вел самолеты все дальше и дальше. Мотор Алексеева барахлил, иногда на несколько секунд совсем переставал работать, и Алексеев с большим трудом удерживал свой самолет в строю.

Они выскочили на большую дорогу возле моста через реку. Мост был узок, и перед ним скопилось около десяти фургонов, в которых немцы перевозят пехоту. Три фургона запылали после первого же штурмового удара, окончательно загородив дорогу. Лесок сразу наполнился множеством разбегающихся по глубокому снегу немецких солдат.

Тогда самолеты разделились: Карякин и Чепенков прочесывали из пулеметов лес, летая низко над вершинами и истребляя бегущих солдат, а Костин и Алексеев занялись уничтожением фургонов. Костин применил прием Рассохина. Ведя за собой Алексеева, он кружил над фургонами огромным вертикальным колесом, пикируя и снова уходя вверх. Мост был укреплен зенитными автоматами, и, пикируя, приходилось продирается сквозь струи пуль.

Алексеев сегодня не испытывал страха – того привычного ему, всегда скрываемого страха, который он испытывал прежде при столкновении с врагом. Все внимание его было поглощено тем, чтобы выйти из пике как раз там, где выходил Костин, ни на метр выше. Планировал его самолет хорошо, но выходил из пике медленно, с трудом лез вверх, и на подъемах Алексеев отставал от Костина.

Он теперь был уверен, что мотор его вот-вот откажет совсем. «Хоть бы меня сбили, – думал он. – Тогда всему конец, все развяжется». Но уже мост пылал, фургоны пылали, многие из них лежали вверх колесами, а ни одна пуля не попала в самолет Алексеева.

Штурмовка кончилась. Алексеев видел, что Костин пошел вдоль дороги все дальше от фронта, и начал отставать. Он уже не сомневался, что скоро упадет, и в глубине души хотел, чтобы скорее случилось это неизбежное падение. «Когда я погибну, они пожалеют обо мне. Сам Рассохин пожалеет».

Однако он чувствовал, что поступает неправильно. Правильнее было бы сделать все возможное, чтобы спасти самолет. И он наконец решился. Круто повернув, оставил товарищей и один пошел назад, к озеру. Он знал, что ему не удастся дойти до линии фронта. Но, к его удивлению, мотор продолжал тянуть и работал даже лучше, чем раньше. Перебои стали реже. А когда линия фронта осталась позади, перебои в моторе прекратились совсем.

Мотор гудел ровно, сильно и в несколько секунд вынес его на озеро. Самолет шел прекрасно, повинуюсь каждому движению руля. Произошло непонятное. Мотор сам собой исправился в полете.

И тут Алексеев испугался, как никогда еще в жизни. Сейчас, после всего, что было, после страшных слов Рассохина, он вернется на исправном самолете, с исправным мотором, бросив товарищей, сражающихся в тылу у врага! Нет, хуже этого ничего случиться не могло! Что же делать? Повернуть обратно и попытаться найти Костина? Да разве сыщешь его на таком пространстве!..

Им овладело искушение: разогнаться и со всей силы врезаться в лед.

И в это время он заметил четыре «Мессершмитта». Они шли низко надо льдом, продолжая снижаться. Это поразило Алексеева: «Мессершмитты» редко бродят так низко. Куда они направляются? Вероятно, идут к озерной дороге.

Круто повернув, Алексеев помчался им наперерез. Он находился выше их и, перейдя в пике с огромной скорости, налетел сверху на ведущий «Мессершмитт». Очередь. «Мессершмитт» сразу клюнул носом, ткнулся в лед и распался.

Но в Алексеева сзади уже летели струи пуль. Не пытаясь уклониться, он развернул свой самолет под пулями и встретил второй «Мессершмитт» лоб в лоб. Они неслись

друг другу навстречу, стреляя. Вот-вот столкнутся. «Нет, я первый не сверну, – успел подумать Алексеев в каком-то почти восторге. «Мессершмитт» выростал перед ним с каждым мгновением, все шире закрывая горизонт. – Нет, я выдержу».

И не выдержал немец.

Между ними было всего несколько метров, когда «Мессершмитт» вдруг взмыл кверху, подставив Алексею свое брюхо. Алексеев ударил в это брюхо из всех пулеметов. Вражеский самолет сорвался и, вертясь, пошел вниз.

Но у Алексея уже не было времени следить за его падением. Два других «Мессершмитта» атаковали Алексея сразу – один сбоку, другой сзади. Они разбили мотор и ранили Алексея в ногу – выше колена.

Сияющая на солнце поверхность льда была совсем близко. Алексеев собрал все силы, чтобы посадить самолет. Он был искусным пилотом и еще в летной школе славился безукоризненной посадкой. Мотор уже не работал, но Алексеев спланировал на лед безошибочно и мягко.

Сидя в кабине, он увидел вдали дорогу. До нее было километра четыре. Увидел красноармейцев в тулупах, бежавших к нему по льду. «Значит, наблюдали, как я дрался», – подумал Алексеев.

Он услышал треск над собой и поднял голову. Два «Мессершмитта» пикировали сверху и стреляли. Пули веером ложились справа, зарываясь в снег.

Алексеев расстегнул ремни и вылез из кабины. Пробитая пулей нога болела, не давала идти. Он сделал несколько шагов и упал в снег.

Сидя в глубоком розовом от крови снегу, он видел, как «Мессершмитты» поднялись и опять пошли в пике. Пламя охватило его самолет. На Алексея дохнуло жаром. Он пополз прочь от машины, навстречу бегущим к нему красноармейцам.

Он думал, что теперь, когда самолет горит, «Мессершмитты» уйдут. Но они не уходили. Они хорошо видели его оттуда, сверху, и пикировали на него. Гремели моторы, трещали пулеметы, пули ложились рядом, шевеля снег. Алексея ударило в плечо. И он понял, что это конец.

Он сел, раскрыл свой планшет, вытащил карту и расстелил ее перед собой на снегу. Вымазал палец в бегущей из колена крови и липкой своею кровью написал на карте: «За Сталина! За Ленинград!»

Потом подумал и прибавил: «Простите...»

Потом вывел слово: «Люся».

И его убили.

Леша и Василий Степанович остались в квартире одни. Василий Степанович, раздраженный и злой, сидел в кресле.

- Неблагодарная, - сказал он и посмотрел на часы. За последние несколько минут он уже раз двадцать смотрел на часы.

Леша хмуро и подозрительно глядел на него.

- Что вы с ней сделали? - спросил он наконец.

- Я? Абсолютно ничего. Она просто удрала. Боже, как она меня подвела!

Он вскочил и в ярости зашагал по комнате.

- Что это значит - «просто удрала»? - спросил Леша. - Разве дети просто удирают? Вы... вы дурно с ней обращались? Я...

- Оставь, пожалуйста, - сказал Василий Степанович. - Она помешанная девчонка, и как с ней ни обращайся, она все норовит убежать. Я болван, что с нею связался. Она все мне сорвала в последнюю минуту.

Он опять посмотрел на часы.

- Нет, я этого так оставить не могу! - сказал Леша. - Я...

Но Василий Степанович, не слушая, перебил его:

- Сколько времени нужно добираться до вашего аэродрома?

- Часа три, если попадетсЯ машина, - ответил Леша. - Нет, это крайне подозрительно, - продолжал он. - Вы должны знать, куда она удрала.

Василий Степанович остановился. Какая-то новая мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на Лешу повеселевшими глазами.

- Слушай, я, кажется, начинаю догадываться...

- Ну?

- Она поехала к тебе.

- Ко мне?

- Ну да, к тебе на аэродром.

- Да разве она знает, что я на аэродроме?

- Конечно, знает! Я ей сам сказал.

- Позвольте, вы же уверяли меня, дядя, что ничего ей не говорили.

- Я не говорил ей, что писал тебе, но что ты на аэродроме, я говорил, - сказал Василий Степанович.

- Да вы сами не знаете, где наш аэродром.

- Конечно, не знаю, - подтвердил Василий Степанович. - Я только предполагал, что он где-то в стороне Ладожского озера.

- Я еду! - Леша встал и в упор посмотрел на Василия Степановича. - И вы поедете со мной. Я не отпущу вас ни на шаг, пока мы ее не найдем!

- Ну едем, едем, сделай одолжение, - весело проговорил Василий Степанович и застегнул свою шубу.

Выбегая из квартиры Василия Степановича на поиски Эрны, Павлик в передней заметил Люсю. Он так давно ее не видел, так не ждал ее встретить, так был занят своей догадкой о том, куда удрала Эрна, что сообразил только на улице: «Да ведь это же Люся! Вернуться? Я только взгляну, там ли Эрна, и вернусь».

Через разрушенный дом, тот самый, в который бомбы попали дважды, он вышел на занесенный снегом двор и заметил на нетронутом снегу свежие маленькие следы. «Я так и знал, что она пошла туда», – подумал Павлик.

Плита, закрывавшая отверстие, была отодвинута.

– Эрна! – крикнул Павлик.

Снизу никто не отозвался.

Павлик спрыгнул в отверстие и открыл железную дверь в комнату с нарами. Здесь по-прежнему было теплее, чем на улице.

– Эрна! Эрна! – кричал он.

Все было тихо.

Павлик достал свой фонарик и осветил нары.

Эрна лежала ничком на прежнем своем месте и, подняв голову, не мигая, смотрела на фонарик большими глазами.

– Это ты? – проговорила она, узнав Павлика. – Ты опять сюда пришел? Разве снова упала бомба?

– Слезай, слезай, – сказал Павлик.

Она покорно слезла с нар.

– А я думала – это он. Он сюда иногда ходит подслушивать по телефону. Он к проводам приделал трубку и подслушивает. Я теперь про него все знаю. – Она странно рассмеялась. – Он не Тарараксин, а Тизенгаузен...

– Тизенгаузен? – спросил Павлик и от неожиданности сел на нары.

– Ну да, Тизенгаузен, – повторяла она, как самую простую и общеизвестную вещь. – Немец Тизенгаузен.

– Он немец?

– Немец.

– Разве он не Василий Степанович?

– Василий Степанович. Он не немец, а хочет быть немцем. Он сказал мне, что скоро настанет время, когда лучше быть Тизенгаузенем, чем Тарараксиным. Ему очень нравится это слово – «Тизенгаузен». Когда он забывал, что я в комнате, то все повторял: «Тизенгаузен! Тизенгаузен!»

– Нет, тут что-то не так, – перебил ее Павлик. – Ты, кажется, действительно сумасшедшая.

– Может быть, – ответила она просто. – Он тоже говорил, что я сумасшедшая. Мне тут хорошо. Я к нему не пойду. Я про него все знаю. – Она нагнулась к Павлику и прибавила шепотом: – Это он убил Сенечкина.

– Какого Сенечкина?

- А вот того, про которого говорили, что он выбросился из окна. Я сама видела, как Сенечкин лежал на дворе в пальто и кепке.

- В пальто и кепке? Это был Сенечкин?

- Ну да.

- Который лазил по крышам?

- Сенечкин не лазил по крышам. Сенечкин был больной. Сенечкин не мог лазить. Это он лазил по крышам. Он говорил, что любит смотреть с крыши, как бомбят. Он всегда знал, когда будут бомбить: посмотрит на часы и пойдет на квартиру к Сенечкину, а оттуда на крышу. И сразу начинают бомбить...

- Постой, постой! - вскочил Павлик. - Значит, это он пускал ракеты?

- Не знаю, не видела. Может быть, он. Он все хотел попасть к летчикам, к Леше, к моему двоюродному брату...

- А где эти летчики?

- Не знаю. Он сам не знает. Где-то, говорит, возле озера. Он сказал мне, что нашел Лешу и что Леша возьмет меня к летчикам, а он будет ко мне приезжать. Он хотел, чтобы я была у него, как червячок на удочке. - Эрна опять рассмеялась. - А я не хочу. Мне и тут хорошо. Вот я и ушла сюда.

- Леша сейчас у него. Идем! - Павлик схватил ее за руку.

- Не пойду.

- Он такой большой, этот Леша, одет как моряк, с птичкой на рукаве. Пойдем!..

- Не пойду.

- Дура ты! - закричал Павлик. - Ведь мы сейчас все расскажем. Мы поймем его!

Он тянул упирающуюся Эрну, тянул изо всех сил и подтащил к выходу из подземелья.

- Лезь! - крикнул он.

- Зачем ты толкаешься? - обиделась Эрна. - Ну хорошо, пойдем.

Они вылезли во двор, и Павлик увидел Люсю, стоявшую возле отверстия.

- Павлик! - бросилась к нему Люся. - Какой ты тоненький стал!..

- Держи ее, Люся, - сказал Павлик. - Не отпускай от себя. А я бегу, бегу!

Оставив Эрну Люсе, он через разрушенный дом выбежал на улицу.

День кончался. Начиало темнеть.

Павлик взбежал по лестнице и долго стучал в дверь квартиры Василия Степановича. Ему никто не ответил. Василий Степанович и Леша исчезли бесследно. «Куда он мог поехать? Неужели к летчикам? – подумал Павлик. – Нужно догнать. Нужно предупредить».

Летчики живут где-то возле Ладожского озера. Ничего больше Павлик о них не знал. Адрес неточный. Но у Павлика не было времени размышлять.

Машины, направлявшиеся к озеру, проходили по улицам Выборгской стороны. И Павлик пошел через весь город на Выборгскую сторону.

Было уже совсем темно, когда он миновал Финляндский вокзал. Машин здесь было много – огромные гремящие грузовики, движущиеся все в одну сторону. Они шли, не зажигая фар, наполненные едущими стоя людьми. Павлик просил остановиться, но машины пронеслись мимо, и никто не обращал на мальчика никакого внимания. И Павлик шел все дальше и дальше по дороге, туда, куда уходили машины.

К одному из грузовиков он прицепился сзади, ухватился за борт, поставил ногу на какую-то перекладину и повис. Так проехал он довольно долго. Но кузов машины был полон женщин, они заметили Павлика, стали кричать, что он упадет, и заставили его спрыгнуть.

Он опять зашагал. Маленькие деревянные домики и бесконечные заборы тянулись по сторонам. Город кончался. Павлик чувствовал, что у него уже нет сил. Тогда он решился на крайнее средство: стал посреди дороги и решил стоять, пока на него не наедет машина.

Пятитонка вынырнула из тьмы. Павлик стоял. Шофер дал гудок. Павлик стоял. Машина заскрежетала тормозами и остановилась так близко, что Павлик мог дотронуться до радиатора рукой.

Неистово ругаясь, шофер выскочил из кабины. Павлик попросил разрешения сесть. Шофер выругался еще рьянее, но сесть разрешил.

– Садись!

Кузов был устлан соломой. Люди лежали здесь вповалку. Улегся и Павлик. От усталости и тряски он скоро заснул. Во время пути он несколько раз просыпался и видел над собой темное небо и еще более темные вершины елок. Павлик пытался вскочить и посмотреть, нет ли где-нибудь на дороге Василия Степановича, но ехавшие толкали Павлика локтями и требовали, чтобы он лежал смирно. Да он и сам понимал, что в такой темноте ничего не увидит.

Машина с трудом пробиралась во мраке, еле тащилась, и было ясно, что до озера они доберутся к рассвету. Павлик решил теперь дожидаться рассвета, найти на дороге какого-нибудь летчика и рассказать ему все.

А то, может быть, утром он увидит, как поднимаются из-за леса самолеты, и сам найдет аэродром. Этот план успокоил его, и он крепко заснул.

Проснулся он от какой-то суматохи. Машина стояла. Шофер вылез из кабины и ругался. Люди в кузове тоже ругались.

– Мертвый? – спросил кто-то.

– А кто его знает, – ответил шофер. – Лежит.

– Он, наверное, с голоду свалился.

- Нет, не с голоду, - сказал шофер. - Рожка толстая.

- И как его не раздавили! - кричали в кузове. - У самой колеи упал. А шапка какая! А шуба! Оттащи его в сторону.

Павлик вскочил на ноги и увидел шофера, который волочил по снегу рослого мужчину в шубе и шапке. Павлик сразу узнал и шубу и шапку.

Рядом с женщиной на снегу валялась связка книг.

Оттащив упавшего в сторону, шофер влез в кабину, и машина тронулась. Павлик на ходу выскочил из кузова, подбежал к лежащему и наклонился над ним.

Он был уверен, что это Василий Степанович. Но увидел совсем другое лицо, молодое, непохожее.

Перед Павликом, в шубе и шапке Василия Степановича, лежал Леша. Он вдруг открыл глаза, сел и, держась обеими руками за голову, сказал:

- Он ударил меня по голове...

Леша беспомощно оглядывался, стараясь понять, где он находится. Потом заметил на себе шубу и совсем растерялся.

- Он надел на вас свою шубу и шапку, - догадался Павлик, - а сам, наверное, взял вашу шинель и фуражку. Вставайте.

Леша неуклюже поднялся и, раздвинув свои длинные ноги, устался на Павлика.

- А ты разве его знаешь? - спросил он удивленно.

- Знаю. И Эрну знаю.

- И Эрну знаешь? - еще больше удивился Леша.

- Эрна нашлась. Я отдал ее Люсе. Идемте.

- Ты и Люсю знаешь? Так кто ж ты такой?

- Я Павлик. Так идемте же!

- Павлик? - переспросил Леша. - Где я тебя видел? Я тебя у него видел!..

- Что ж вы стоите? Идемте, идемте!..

- Постой, - сдержал его Леша и, распахнув шубу, стал рыться в карманах кителя. - Он взял у меня пистолет и документы...

- Идемте! - торопил Павлик. - Неужели вы не понимаете? Он пошел на аэродром. Он сейчас пустит ракету.

И они быстро пошли по дороге.

Только теперь, наконец, Леша пришел в себя и начал понимать, что происходит.

- Куда ты? - накричал он. - Не сюда. Вот тропинка. Через лес. Мы всегда тут ходим. Когда я показал ему эту тропинку, он ударил меня по голове...

Павлик уже бежал по тропинке, и Леша, таща книги, едва поспевал за ним, спотыкаясь и поминутно нагибая голову, чтобы ветки не хлестали его по лицу. Павлик бежал не оглядываясь, слыша за собой его тяжелые шаги и несвязное бормотание.

- Нехорошо... Я сам привел его, ох...

Узкая тропинка, извиваясь в чаще, то спускалась в лощинку, то лезла вверх и казалась бесконечной. В лесу было еще темно, но небо уже серело. И снег светлел на земле между елками и голыми осинами.

Павлик внезапно остановился:

- Смотрите! Вот его следы! Он свернул с тропинки и пошел по снегу!

- Куда ж он пошел? - Леша разглядывал следы больших калош.

- Не знаю, - сказал Павлик. - Но я пойду за ним.

- И я, - сказал Леша.

- Нет, - возразил Павлик. - Вы пойдете по тропинке прямо на аэродром и там предупредите!..

- Верно! Нужно предупредить, - согласился Леша. И зашагал по тропинке.

Следы по глубокому снегу вели в лес, вели путанно, петлями. Павлику, несмотря на то, что он ростом был невелик, приходилось то и дело нагибаться и почти проползая под ветками елей. Местность была здесь неровная, и чем дальше шел Павлик по следам, тем выше он подымался. Мало-помалу он понял, что идет вверх по склону холма.

Заросший лесом склон, сначала едва заметный, становился все круче и круче. Павлик карабкался, хватаясь за стволы, за прутья, и не спускал глаз с широких следов.

Внезапно заметил он на снегу телефонный провод. Павлик задел его ногой, и провод послушно сдвинулся: он был перерезан.

Чем выше лез Павлик, тем реже и мельче становился лес. Павлик чувствовал, что до вершины бугра уже недалеко. Шаги Василия Степановича становились все шире – видимо, он торопился. Потом вдруг следы оборвались. В снегу была большая вмятина. И Павлик понял, что здесь Василий Степанович лег на снег.

Павлик лег на то же самое место, чтобы понять, зачем сделал это Василий Степанович. Вершина совсем близко, но разглядеть ее отсюда нельзя: заслоняют прутья. Вероятно, там, на вершине, кто-нибудь есть. Ага, он пополз отсюда вверх! Павлик заметил на снегу следы ладоней Василия Степановича.

Светлело, но солнце еще не встало. Было тихое зимнее утро. Лес кругом стоял неподвижный и беззвучный. И вот в этой тишине Павлик расслышал отдаленный гул моторов.

Он мгновенно узнал этот гул. Он столько раз слышал его в городе, он ни с чем не мог его спутать. Это «Юнкерсы».

И сразу же совсем близко, на вершине, раздался выстрел. Короткий пистолетный выстрел. Павлик вскочил и побежал вверх.

Он больше не обращал внимания на следы, он бежал по снегу, пробираясь сквозь ольховые прутья. Выше, все выше. И вдруг голая вершина холма открылась перед ним.

Он увидел убитого. Молодой краснофлотец в тулупе лежал на снегу. Рядом с ним валялись его черная шапка-ушанка и автомат.

А дальше, на камне, торчавшем из-под снега, стоял Василий Степанович в Лешинной шинели и фуражке. Он стоял спиной к Павлику, держал в руке большую ракетницу и целился в небо.

Все слышнее раздавался угрюмый гул моторов. Ракетница слабо щелкнула. И ракета, как большая зеленая капля, взнеслась высоко-высоко в светлеющее небо.

И пока она подымалась все выше, Павлик подбежал к убитому краснофлотцу, лег рядом с ним и взял автомат.

Никогда в жизни не держал он в руках автомата, но автомат затрещал, заработал. Василий Степанович покачнулся и неторопливо, как бы нехотя, свалился с камня набок, в снег.

Выслушав Лешу Тарараксина, Рассохин приказал всем самолетам подняться в воздух.

Леша пробыл на командном пункте не больше минуты. Выбежав из землянки, он увидел зеленую ракету, взлетевшую в утренних сумерках с вершины бугра.

Как был - в чужой шубе, в шапке, безоружный, - он побежал вверх по склону. Впереди, на вершине, затрещал автомат и смолк. С аэродрома взлетели самолеты. Леша на бегу обернулся, посмотрел, как они взлетают. Успеют ли?

Вот уже четверо в воздухе, пятеро, шестеро... Успели! Откуда же взялся седьмой самолет?

Нет, их должно быть шесть. Рассохин, Ермаков, Костин, Чепенков, Карякин, Рябушкин. Когда-то их было девять. Но Грачев ранен, Никритин убит, Алексеев убит. Откуда же взялся седьмой? Нужно сосчитать снова...

Но сосчитать ему не удалось, потому что воздух дрогнул от взрыва и снизу, с аэродрома, поднялся столб черного дыма. Леша упал в снег. «Юнкерсы» бомбят аэродром. Какое счастье, что эскадрилья успела взлететь!

Еще взрыв, еще. Бомбы долбили опустевший аэродром. Сверху, по склону, кувыркаясь в снегу, прямо к Леше скатился Павлик с автоматом в руке. Он лег рядом с Лешей, прижался к нему, и они оба стали смотреть в небо.

Там, в небе, уже розовеющем, шла битва... Шесть «Юнкерсов», не ожидавших, что истребители встретят их в воздухе, метались в беспорядке. Их гнали большими кругами, не давая уйти. Их прижимали к земле, не давая подняться, и кресты были отчетливо видны на их темных крыльях. Воздух звенел от гула моторов, от короткого кваканья пулеметных очередей.

Когда один «Юнкерс», задев крылом поле аэродрома, переломился пополам, другой врезался в лес, а третий, запыхав в воздухе, упал где-то за холмом, на берег озера, Леша вскочил и, подпрыгивая, кричал во всю глотку, сам не замечая своего крика. А рядом с ним подпрыгивал и тоже кричал Павлик, держа в руках автомат.

Когда все стихло и эскадрилья Рассохина скрылась за горизонтом, гоня перед собой три уцелевших «Юнкерса», Леша спросил Павлика:

- Ты сосчитал, сколько было наших самолетов?

- Сосчитал.

- Шесть?

- Нет, семь, - уверенно сказал Павлик.

Алексеева похоронили на вершине бугра, рядом с Никритиным, а рядом с Алексеевым похоронили краснофлотца, которого убил Василий Степанович.

Весь аэродром был на похоронах. Люся тоже была – с Эрной и Павликом.

Она вернулась на аэродром, потому что нужно было привезти Эрну, Рассохин сказал, что сейчас у него нет времени подыскивать новую библиотекаршу, и приказал остаться. И она поселилась в своей комнатке с двумя детьми.

Автомат у Павлика отобрали. Он надеялся, что не отберут, но Рассохин велел отобрать.

– Ты и без автомата хорош, – сказал ему Рассохин. – Живи, приглядывайся к самолетам, может, и тебе когда-нибудь летать придется.

И Павлик жил и приглядывался. Весь день от зари до зари проводил он на аэродроме, и Люсе приходилось бегать за ним, чтобы загнать его на обед или на ужин. Из летчиков больше всего нравился ему Рябушкин. Он восхищенно ходил за ним следом и почтительно прислушивался к каждому его слову. И Рябушкин со снисходительной важностью водил его к своему самолету и даже позволял залезать в кабину.

На похоронах Люся впервые увидела нового летчика, который вернулся в эскадрилью из госпиталя в тот день, когда она уехала в город. Он был высокий, неуклюжий, с чубом светлых волос, выбивающимся из-под шлема. Вместе с Рассохиным, Ермаковым и Костиным он нес гроб Алексеева на вершину бугра. Ей сказали, что зовут его Коля Грачев.

Когда могилу засыпали и толпа на вершине стала редеть, Грачев подошел к Люсе и протянул руку:

– Здравствуйте.

Она услышала его голос и узнала его.

– А как вы меня узнали? – спросила она.

Он порылся под комбинезоном во внутреннем кармане кителя и вытащил маленькую фотографическую карточку, которую она когда-то оторвала от старого пропуска в столовую.

Она больше ничего не сказала. И он ничего не сказал. Вершина опустела, а они все еще стояли рядом и глядели вдаль, туда, где за лесом белела снежная гладь озера и пролегла дорога, днем и ночью несущая жизнь городу непобедимых.

Я еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом – выпадение сознания: вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод – это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.

В бомбоубежище я спустился тоже только ради своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что, если бомба попадет, все равно где находиться – на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге – непорядок. А непорядка я допустить не мог.

В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе, и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я задремал бы под это тиканье на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же – как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом.

Потом она рассказала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших, совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.

В бомбоубежище было человек пятьдесят, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им, так же, как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит – хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал:

– Бомбят не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдемте на крышу!

Я поднял глаза и увидел стоящую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.

Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полу-тьме и всегда внезапно; она вдруг обгоняла меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий раз хотелось догнать ее и заглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Заметив ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь.

Я торопливо оглянулся. Наборщик Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колене. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.

Едва железная дверь захлопнулась за мной, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестиэтажные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор... И я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью.

Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспышка озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догоняя ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.

- Я знаю, кто вы такой, - сказала она на бегу. - Вы редактор.

- Правильно, - ответил я. - Я редактор. А вы кто?

- Просто девочка.

По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.

- А как вас зовут?

- Александра.

- Саша?

- Нет, Ася.

- Как славно!

- Что славно?

- Славно вас зовут, Ася!

Она промолчала, продолжая бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:

- У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?

- Да, - сказал я. - Его фамилия Сумароков. Он очень плох.

- Плох?

- Да. Он скоро умрет.

- Он не умрет, - сказала она. - Я с ним поговорю.

Я рассмеялся:

- Отсоветуете?

- Отсоветую, - сказала она без смеха. - Можно зайти к вам в типографию?

- Конечно.

- А Ангелина Ивановна к вам ходит?

- Ходит.

- Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает.

Тут огненные зубчатые колеса завертелись у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громок, как шум водопада.

3

Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.

- Сейчас пройдет, - услышал я рядом ее голос.

Огненные колеса, золотые зубцы, перепонки и стрелы бледнели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул и умолк.

- Это пустяки, - сказал я.

Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.

- Нет ли у вас фонарика? - спросила она.

У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берег батарею.

- Дайте.

Я сунул фонарик ей в руку. Вместо того чтобы озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.

- Ваш ватник не застегнут, - сказала она наконец.

Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами города, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.

Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.

- У меня есть английские булавки, - сказала она.

- Не надо.

- Нет, надо. Только стойте смирно, - прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах.

Руки ее потянулись к моей шее, к вороту.

В это мгновение раздался протяжный рокот обрушившихся бомб, дом качнулся.

Я боялся, что она уколет мне шею, но пальцы ее не дрогнули.

- Это за Невой, - сказала она громко, чтобы перекрыть треск зениток, и застегнула булавку.

Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.

- Ну, вот мы пришли, - проговорила она и открыла низенькую дверь.

Я шагнул вслед за ней и увидел небо.

Нет ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественность и стройность его были разрушены. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев.

Среди этих мечущихся огней крыша плыла и качалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, окликая друг друга через все громадное небо. Вспышка - и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунды выступали из тьмы крыши, шпили, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла - и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах.

Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юго-западе - там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту. Но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти.

Ася стояла за спиной, выше, - на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед - через мою голову. И все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах.

- Как им хочется нашей смерти, - сказала она. - А мы должны им назло - жить, жить, жить!..

Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки.

Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали.

Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена; из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом – ему было девятнадцать лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчалив и малоподвижен, и его исхудалое грязное лицо – он давно не умывался – не выражало ничего, кроме постоянного страдания.

– Здравствуйте, – сказал мне Цветков, стоявший, прислонясь к машине.

Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.

– Ну, как? – спросил я.

– Току нет, – ответил Цветков.

Наша типография состояла из четырех наборных касс и плоскочечатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня, и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже не будет.

– Что станем делать? – спросил я.

Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:

– Не знаю.

– Перемени дату в наборе, – приказал я Сумарокову.

Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромя, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел.

Он склонился над набором.

– Здесь был кто-нибудь? – спросил я у Цветкова.

– Соседка, – сказал он.

– Какая?

– Ангелина.

– Интересно, кто раньше помрет, она или я, – сказал Сумароков.

И я понял, о чем они говорили с Ангелиной Ивановной.

Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру – вчерашнее число на сегодняшнее.

– Ты скоро?

– Сейчас.

У меня не хватило терпения.

- Отойди, - сказал я ему. - Я сам.

Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменял литеру и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было.

Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел - он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.

- Начнем, - сказал я Цветкову.

Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.

- Сумароков, - сказал я.

Сумароков медленно поднялся с табуретки.

- Покрути колесо немного.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом, все с тем же удивлением на лице, подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее.

Он налег на нее всем телом, но колесо не двигалось. Я решил, что он притворяется.

- Давай, давай! - кричал я на него.

И вдруг по покрасневшей его шее я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.

- Садись, - сказал я ему и сам подошел к колесу.

Мне случалось крутить колесо плоскопечатной машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко. Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стали проходить спица за спицей.

Колесо сделало полный поворот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрал все силы, я опять надавил на ручку, и она опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы. Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым.

В его глазах была жалость. Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку.

Колесо сделало еще один оборот.

Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось - еще один оборот, еще один. Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каждым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить.

Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, и я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Хуже этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал.

Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще.

Поднятое кверху небритое лицо Цветкова показалось мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось белее. Еще оборот, еще оборот, еще...

Он выпустил ручку и стал валиться на бок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как он падает.

Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания подымалась и опускалась.

Я пересчитал отпечатанные листы. Их было двадцать два. Двадцать два раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше пятисот экземпляров. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на экземпляр. Тысяча оборотов!

Тысяча!

Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.

С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на казарменное положение; это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнатке было чисто и опрятно. Но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажой, мусором.

- А это ваша карточка? - услышал я из-за двери тоненький голосок.

- Моя, - ответил голос Сумарокова.

- Когда вы снимались?

- В июле.

- Вот какой вы были!

- Был ничего, - сказал Сумароков не без самодовольства. - Что, похудел? Тут похудеешь...

- Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...

- Это от печки, - хмуро объяснил Сумароков.

Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!

- Это что за корабли? - спросила она.

И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова, заветнейшую его драгоценность. Когда мы начали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал свою прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии - прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и малодостоверных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи - вписывал удивительным почерком, каждая буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах.

Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, польщенный и обрадованный ее вниманием.

Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее - не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая. Но на почти детском ее лице уже лежала та печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.

Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит.

Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любопытством ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки.

- «Боевой буксир», - прочла она громко. Так называлась наша газета.

- Это что же, газета водников? - спросила она.

- Да, - сказал я.

- «Срочный ремонт судов - залог победы», - прочла она заголовок передовой, которую написал я. - Они сейчас ремонтируют свои суда?

- Да, - сказал я. - Должны ремонтировать.

- А они ремонтируют?

- Как это ни удивительно, ремонтируют.

- Почему удивительно?

- Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.

- Току нет, - проговорил Цветков. - А вертеть вручную сил нет.

В типографию вошел Сумароков - преображенный. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут, и под ним - матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, - казалось, он только так, случайно, оступается.

- Никогда не видела, как печатают газеты, - сказала Ася. - Интересно поглядеть.

И взялась за ручку колеса. Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.

- Тяжело, - сказал Сумароков. - Давайте я вам помогу.

Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.

- А где же бумага? - спросила она. - Как это печатают?

Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал. Она засмеялась. Еще один лист, еще один.

- Вы устали, - сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. - Давайте я один.

Она покачала головой.

- Вдвоем совсем не трудно, - сказала она. - Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсю.

Спицы бегали все быстрее и быстрее, и все быстрее и быстрее становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.

Это было открытие необычайной важности.

- Я сам, - решительно сказал Сумароков и отпихнул ее от ручки.

Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она смотрит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.

Тогда я встал с койки.

- Который лист? - спросил я Цветкова.

- Сто девятнадцатый, - сказал Цветков. - Сто двадцатый. Сто двадцать первый.

- Отойди! - крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.

Я небрежно швырял ручку резкими движениями ладоней. Машина тяжело грохотала. Листы вылетали.

- Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, - проговорил Сумароков у меня за спиной. - А то того и гляди помрем.

- Пока будет выходить газета, не помрете, - сказала Ася.

Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестиэтажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.

Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один: нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог – телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии, и мое. Нужно только немного подождать...

Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами – своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги – для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял, но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.

Выходил я только в булочную, за хлебом, – раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба – мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», – говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.

Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились, и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой – все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.

Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.

И вдруг в этой бездонной безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:

- Вы живой, живой! Очнитесь!

Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:

- Вы - живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала - вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою...

Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!

- Сейчас, сейчас!.. - повторяла она и уже разжигала мою печурку.

Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.

- Надо принести воды, - сказала она, схватила большой медный чайник и выскользнула из комнаты.

Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-жизнь, - думал я, поджидая ее. - Девочка-жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода, - в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы по капле набрать воды в такой большой чайник... И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!»

И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.

Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно валяться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.

- Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!

- Конечно, я могу стоять! - сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку.

Она сняла варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гноились возле ногтей. Я знал, что это значит, - у меня тоже трескались и гноились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями - ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и мы еще могли вертеть колесо машины... Она раскрыла тетрадь, перелистала.

- Можно мне взять ее себе?

- Конечно.

В комнате становилось все теплее, я расстегнул английские булавки и распахнул свой ватник. Чайник запел песенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипятка в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступал на лицах, мы, обжигаясь, отхлебывали кипятка маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами - близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодцы, мы хитрецы, мы оба живы!

Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевельнется в кустах, она - дзвинь, и его нет. Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.

- Что ж вы не пошли?

- Мама.

Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.

- Мама лежит?

- Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала.

Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.

- А вы почему не в армии?

- Забракован, - ответил я. - Мне должны были делать операцию, но война помешала.

- Что ж у вас было?

- Язва двенадцатиперстной кишки.

- Это самая важная кишка в человеке, я знаю.

- Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.

- Вот почему вы были такой тощей и желтый, когда я вас в первый раз увидела.

- А когда вы меня увидели в первый раз?

- В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не заметили?

- Нет, тогда не заметил.

- Мне очень интересно было, как печатают газеты. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала - и того хромого мальчика, и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?

- Теперь это все равно.

Я рассказал ей, как я огорчился, когда меня вместо армии направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.

- Чего же вы ждете?

- Я жду приказания, - ответил я.

- И давно?

Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...

- Приказания не будет, - сказала она.

Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.

- Почему?

- Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают.

Она была права. Все равны перед голодом.

- Если бы можно было позвонить... - сказал я. - Но позвонить нельзя...

- А вы пойдите.

Тут я рассмеялся:

- Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!

- Далеко!

- Я упаду и замерзну.

- Очень может быть, - сказала она спокойно и серьезно. - Это уж от нас зависит.

- Это не зависит от меня, - возразил я. - Я просто знаю, что у меня не хватит силы.

Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:

- А вы давно не мылись?

Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...

- Почти полный чайник горячей воды, - сказала она. - Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...

Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.

- А вам уже нужно уйти?

- Там мама, - ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое. - Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.

Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:

- Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.

- Откуда вы это знаете? По себе?

- И по себе, и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.

Я дошел.

Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали, меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза – вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов, все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо – мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали запорошенные снегом трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.

Когда я явился, меня не узнали, когда узнали – удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи меж ее исполинских ребер жило более ста человек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.

Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом: «Цех питания в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходом продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 грамма сахарного песка, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.

Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробивала в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогеном. Мы как тени двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полубморке.

Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это немцы хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.

Переселившись на баржу, я спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать: во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп – теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего, тому, что я жил с

людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне – я стал очень хотеть есть.

Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками, под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.

Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благоразумными из нас; голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестели, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, соперничая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Наевшись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежащих товарищей.

В первую же ночь у нас умерло девять человек. Умирили в муках, крича и корчась от боли. Мы смотрели на них, подавленные страхом, – каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближайšie двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаяньем, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось – не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек двадцать пять, и я был в их числе.

Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал. Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула мне ватник... Она принесла мне воды... Она заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть... В первые недели мне казалось немислимым пройти весь долгий путь обратно и навестить ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом темном доме. Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно – я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем приходе, если я не накормлю ее?

Сначала я хотел откладывать хлеб – по кусочку от моего ежедневного ломтя, – засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов триста. А за неделю она умрет, если сейчас еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду.

Но тут мне повезло: нам выдали по пакету концентрата, который назывался «Гречневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши. Я решил идти не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.

Та бесконечная зима все еще тянулась. Но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я наконец перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота.

Ни одного свежего следа на запорошенной ночной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон первого этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня?

Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничто не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристаллики снега поблескивали на металлических частях машины. Я заглянул в комнатку Сумарокова. Там тоже все по-прежнему: неприбранная моя постель лежала так, как я ее оставил.

Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверху, столько этажей и квартир.

В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, – если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло – маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засеменила прямо ко мне.

– Здравствуйте, – сказала она. – Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре померли.

– Нет, я жив. Здравствуйте.

– Не узнаете? Что, похудела?

По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не

узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.

- Все умерли, все! - сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке. - Все умерли, во всех квартирах. - Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому что это подтверждало ее правоту. - Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...

Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу. Но я медлил. Я не совсем верил словам Ангелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив... Я не мог уйти, не убедившись.

- Ее квартира тридцать девятая, - сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием. - На пятом этаже. Подымитесь, если вы еще можете подняться на пятый...

И я поднялся на пятый этаж.

- Это вы?

- Я! Я!

- Правда вы?

- Я!

- Странно!

- Как?

Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.

- Странно!

Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной квартиры. Входя, я хотел постучать, но заметил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали – слишком трудно было идти отворять.

В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик; батарейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворял двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель сожжена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей – матрасы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчики. Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно двинулось в углу. Я приподнял фонарик... Мое собственное отражение в зеркале...

Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.

Зимние сумерки вливались в комнату сквозь незавешенное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачивая маятником, и мерный стук их казался в тишине неправдоподобно громким. Часы идут – значит, кто-то время от времени подтягивает их гири. Две кровати стояли вдоль стен: одна пустая, на другой груды тряпья. Слегка сдвинув край этой груды, я увидел лицо Аси.

Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала. Она спала.

Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду – к моему удивлению, все у нее было припасено. Почему же тогда она не топит, почему такой мороз в комнате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал, что она смотрит на меня.

Я встал, она меня узнала и все повторяла: «Как странно!» И я долго не мог понять, что именно ей кажется странным.

- Как странно, правда? Как странно, что я опять проснулась. Как странно, что вы тут. Вы дошли до порта! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще увижу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...

Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.

- Вы не умрете, – сказал я.

- Я тоже всем так говорила. И все они умерли.

- Вы и мне так говорили. И я не умер.

- Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Сколько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?

- Сейчас будет тепло, - сказал я, ковыряя кочергой в печурке. - Уже тепло. Вы разве не чувствуете?

- Нет, не чувствую, - ответила она. - Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.

Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я вынул концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.

- Пока мама была жива, я все могла, - сказала она. - Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы - для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не осознаешь? Как это страшно, когда ничего не осознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час...

- Когда это было?

- Не знаю. Давно.

- Вчера?

- Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...

Я смотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.

- Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!

- Вы не умрете! - оборвал я ее. - Смотрите, что я принес!

Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.

- Что это?

- Каша! - воскликнул я с торжеством.

- А, - сказала она безразлично.

- Каша! Каша! - повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. - Сейчас у вас будет каша! Много каши!

Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.

- Вы не съели сами и принесли мне, - сказала она. - А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.

- Вы, вы будете есть!

- Я не могу. Вот. Поглядите.

Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно и я смутно видел ее.

- Вот, - повторила она. - Протяните руку. Вот. Под подушкой.

Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.

- У вас есть хлеб!

- Скушайте, - попросила она.

- А вы? Почему вы не съели?

- Не могу. Не глотается. Проглочу - все назад. А я знаю, что это значит.

Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.

- И давно это у вас началось? - спросил я тихонько.

- Давно. Еще мама была живая.

- И с тех пор вы ничего не ели?

- Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.

Я тоже это видел много раз и знал, что, если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.

- Каша! - повторял я. - Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..

- Не надо, - сказала она умоляюще. И я замолчал.

Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, и я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала.

Я переспросил. Я не расслышал.

Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и тихонько склонился над нею.

- Капли падали, - выговорила она еле слышно. - Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает.

- Чуть-чуть, - сказал я. - Совсем еще мало.

- Придет весна, а я ее не увижу... Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?

- Правда, - сказал я.

- Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.

- Да, - сказал я, - вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...

- Про кого вы говорите?

- Про них! - сказал я.

Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто - они.

- Не надо, - попросила она. - Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.

И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.

- Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу. - Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу. - Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала - неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли. Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне...

Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил, и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват, и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.

- Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях, - сказала она. - Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать... Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!

Она замолчала. Потом я услышал:

- Поцелуйте меня вместо него.

Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.

- Вот так, - сказала она.

Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробili брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.

Конечно, он не очень красив.

Шерсть на нем свалаялась, одно ухо торчит кверху, другое висит, и бегаёт он как-то боком – следы задних ног сантиметра на два правее передних. Порода? Какая там порода! Ни о какой породе не может быть и речи. Вернее, пять-шесть собачьих пород вместе. И все-таки не надо забывать, что с начала войны у него уже шестьдесят восемь боевых вылетов.

Если хотите знать подробности, обратитесь к начальнику строевой части полка старшему лейтенанту административной службы Сольцову. Сольцов все записывает, у него точнейший учет всех боевых действий каждого экипажа. На Кайта он тоже завел особый листок, только хранит его не в несгораемом шкафу вместе с остальными документами, а в своем личном ящике письменного стола. В этом листке вы можете увидеть, сколько за те боевые вылеты, в которых участвовал Кайт, уничтожено немецких танков, сколько потоплено транспортов, сколько разбито мостов и железнодорожных эшелонов, сколько подавлено батарей, сколько рассеяно и истреблено вражеской пехоты. Вы, конечно, можете сказать, что никаких тут у Кайта заслуг нет, потому что летал он только в качестве пассажира, и будете правы. Однако все-таки любопытно отметить, что собака принимала участие в таких великих делах.

Кайт вырос на аэродроме, среди самолетов, и привык к ним, как собака пастуха привыкает к коровам. Он нисколько не боялся шума и грохота моторов и отлично умел обращаться с самолетами – сторонился, когда они шли на посадку, чтобы не попасть под колеса, и знал, как встать при взлете, чтобы его не сбил с ног ветер винта.

Он родился незадолго перед войной, и вся жизнь его прошла на войне. Он понимал, что такое оружие, нисколько его не боялся, но был разумно осторожен. Когда оружейники испытывали на аэродроме пулеметы своих машин, Кайт умел отойти в такое место, где случайная пуля не могла задеть его. Когда немецкая артиллерия обстреливала аэродром, Кайт заходил в землянку, под укрытие, но делал это без всякой паники, спокойно, с чувством собственного достоинства.

На аэродроме было много автомашин, и он очень любил в них ездить. Когда летчики отправлялись на полторатонке к своим самолетам, он бежал рядом и лаял до тех пор, пока его не подсаживали в кузов. Но больше всего на свете он любил ездить в «эмке» своего хозяина на охоту за вальдшнепами.

Предки Кайта, вероятно, нередко принимали участие в охоте, но ни одному из них не приходилось охотиться так, как Кайту. Мало кто знает, что такое охота на автомобиле. Но у нас на аэродроме этот род охоты был очень распространен.

Изобрел его хозяин Кайта капитан Кожич. Маленький, крепкий, узловатый, с черными глазами и черными франтовскими усиками, он становился на крыло «эмки», держа пистолет «ТТ» в руке. Друг Кожича, инженер-капитан Морозов, садился за руль, Кайт садился рядом с Морозовым. И они неслись по огромному пустынному аэродрому, по высокой, некошенной сентябрьской траве.

Не знаю, почему в ту осень было у нас столько вальдшнепов. Быть может, потому, что здесь, в прифронтовой полосе, за ними никто не охотился, или потому, что несмолкаемый грохот грандиозной битвы выгнал их из привычных лесов и полей и заставил переселиться сюда, к нам, в ближайший тыл. Целыми табунами ходили они по траве, тяжелые, разевшиеся, ленивые.

Заметив вальдшнепов, Морозов гнал машину прямо к ним. Кайт подымал свое острое левое ухо – правое у него отчего-то плохо подымалось и всегда висело. Капитан Кожич ленивым и небрежным движением руки подымал пистолет. В этой небрежности и заключался главный шик – капитан Кожич был лучший стрелок в дивизии и гордился этим. Небрежно подымалась рука, щурился черный глаз, и

раздавался отрывистый гулкий выстрел. Вальдшнепы неохотно взлетали и пестрой стайей неслись над травой. Одна птица оставалась в траве. Морозов резко, со всего хода тормозил машину.

Тогда наступала очередь Кайта. Морозов приоткрывал дверцу, и Кайт выскакивал. Вытянув хвост, большими прыжками мчался он к птице. В трех-четыре шагах от нее он внезапно останавливался, припав всем телом к земле. Он медленно подползал к ней на брюхе, словно она могла улететь. Потом бросок вперед – и он осторожно схватывал ее пастью, стараясь не помять ни одного перышка.

С птицей в пасти мчался он назад, к машине, и ложился перед Кожичем в траву, махая поднятым хвостом и глядя ему в глаза. Это был хороший взгляд, полный не раболепия, а дружеского лукавства: мы, мол, с тобой приятели, и мне удовольствие – оказать тебе услугу. Кожич нагибался, брал птицу и небрежно похлопывал Кайта по морде.

Кайт и Кожич были неразлучны. Если где-нибудь заметите вы Кайта с поднятым сверху мохнатым хвостом, значит, сейчас же появится здесь и Кожич. Если Кожич посетит землянку своих техников и мотористов, значит, сейчас же раздастся скрип когтей под дверью, дверь откроется, и войдет Кайт, поочередно обнюхивая ноги каждого. Если Кожич играет в шахматы, Кайт сидит тут же на полу и не сходит с места, как бы долго ни тянулась партия, и только громко постукивает хвостом по полу.

Умение Кайта терпеливо ждать было удивительно, особенно если принять во внимание его необычайную подвижность и способность увлекаться пустяками. Он мог целые дни напролет гоняться за воробьями без всякой надежды поймать их. Заметив маленькую черную мышку, которых так много у нас на аэродроме, Кайт кидался к ней с такой стремительностью, что нередко переворачивался через голову. Мышка, конечно, успевала юркнуть в нору, и Кайт долго рыл землю лапами и мордой, а потом бесновался и прыгал вокруг. Однако, когда Кайт ждал на старте улетевшего Кожича, он, казалось, становился другим существом. Ни один воробей, ни одна мышь в мире не могли отвлечь его внимания. Когда Кожич, в шлеме и очках и уже не похожий на обычного Кожича, садился в свой самолет, Кайт неизменно подходил к нему проститься. Передними лапами скреб он колени Кожича, и Кожич похлопывал его по морде. Потом Кайт ложился в траву, крутились винты, трава дрожала от ветра, и самолеты мчались через весь аэродром к синему лесу и взлетали. И Кайт не спускал глаз с одного самолета – с того, на котором был Кожич. По направлению морды Кайта всегда можно было узнать, где, в каком уголке неба, находится еле видный самолет Кожича.

Но вот самолет уходил так далеко, что далее зоркие глаза Кайта не могли его разглядеть. Кайт продолжал лежать и ждать. Взлеты и посадки других самолетов не привлекали его внимания, разве только на мгновение повернет он к ним свою скачущую морду.

Проходили часы, солнце все выше подымалось по пустынному небу, становилось жарко, а он все ждал. Техникам привозили на старт обед, они угощали Кайта, но он отказывался.

Солнце ползло вниз, тени становились длиннее, а он все ждал. И вот наконец вдали, над зубчатыми вершинами леса, появлялись самолеты.

Кайт подымался, левое ухо его вставало торчком. Он весь приготовлялся к бегу. Самолеты в воздухе были неотличимы друг от друга даже для опытного глаза, но Кайт сразу узнавал самолет Кожича по одному ему ведомым приметам. И едва этот самолет в дальнем конце аэродрома касался колесами земли, Кайт срывался с места и мчался к нему навстречу. Потом бежал обратно рядом с ним, пока самолет заруливал к старту. Когда Кожич, подняв стеклянный колпак, вставал во весь рост, Кайт приходил в неистовство от восторга и с прерывистым визгом так прыгал, что подпрыгивал почти до кабины. Сняв шлем, Кожич спускался на землю, и Кайт едва не сбивал его с ног, прыгая и стараясь лизнуть в лицо.

Как уже сказано, Кайт летал только в качестве пассажира, но пассажиром он был образцовым. Его, очевидно, укачивало, и на пятой минуте полета он обычно уже спал, положив голову на переднюю лапу. Даже треск пулеметов во время схваток с «Мессершмиттами» не мог пробудить его, даже когда штурман Кожича начинал бомбить и бомбы взрывались, он продолжал спать. И только иной раз, когда слишком близко разорвавшийся зенитный снаряд тряхнет самолет и заставит его шарахнуть в сторону, Кайт откроет один карий глаз, поглядит невозмутимо на облачка разрывов, на скрещивающиеся струи трассирующих пуль и опять закроет его.

Капитан Кожич был так неразлучен с Кайтом, что многие дивились, когда он говорил, что не любит собак и что до Кайта он никогда не имел ни одной собаки. Кожич был прирожденный щеголь, даже в его небрежной походке, в его манере говорить было много щегольства; особое щегольство видели и в том, что он летает с собакой, но считали, что собаку ему следовало бы завести породистую, щегольскую, а не такую кудлатую дворнягу, как Кайт. Однако, когда ему говорили об этом, он сердился.

- Вот еще! - отвечал он. - Мне не надо никаких собак - ни породистых, ни дворняжек. А Кайта я не заводил.

И он был прав. Те, которые служили с ним с начала войны, знали, что Кайт вовсе не его собака, а старшего лейтенанта Манькова.

В полку осталось не так много людей, которые видели старшего лейтенанта Манькова, но слышали о нем все. Любой, даже самый молоденький летчик, только вчера прибывший из училища в полк на пополнение, мог бы вам рассказать про старшего лейтенанта Манькова и про его последний бой. О капитане Кожиче с уважением говорили:

- Это был лучший друг Манькова!

И рассказывали, как еще до войны в полку дивились их дружбе. Дивились потому, что трудно было сыскать двух других таких несхожих людей, как Кожич и Маньков.

Ни в чем не было между ними сходства - ни в наружности, ни в душевном складе, ни в привычках. Кожич был небольшой, смуглый, черноволосый, с маленькими изящными руками. Маньков был грузный, высокий, с волосами цвета соломы, с пухлым красным лицом, с огромными ручищами. Кожич был острослов, едкий и насмешливый, и шуток его многие побаивались. Маньков был добродушен и в разговоре ненаходчив - тюлень тюленем. Кожич был честолюбив и изо всех сил старался всюду стать первым - в стрельбе, в плавании, в фигурах высшего пилотажа, в шахматах, в бою. Маньков был совершенно равнодушен к славе, и хотя и оказывался по большей части первым, но получалось это у него как-то само собой, без всякого усилия. По правде сказать, и сама дружба Кожича с Маньковым была основана на соперничестве: Кожич во всем старался обогнать Манькова, но это не часто ему удавалось.

До сих пор помнят отчаянные шахматные сражения между Кожичем и Маньковым. Кожич всех обыгрывал в полку, не мог обыграть только Манькова. Когда они играли, все собирались смотреть - так забавно горячился и сердился Кожич. У Кожича была шумная манера играть - он обычно вел себя крайне самоуверенно, расхваливал свои ходы, высмеивал ходы противника и старался запугать его. Он называл это «моральной атакой», и действительно противники его часто пугались, сбивались, путались и сдавали партию, когда еще можно было играть. Потом Кожич сам же высмеивал их. Но все выходы Кожича разбивались о непобедимое добродушие Манькова. Маньков играл спокойно, молчаливо и точно и этим выводил Кожича из себя. Чувствуя приближение проигрыша, Кожич кричал, что ладья Манькова стоит не на том месте, где ей следует стоять, или что Маньков нарочно посадил его слишком близко к печке, чтобы замутить ему голову, или что

из-за темноты в землянке он по ошибке двинул не ту пешку, какую хотел, и поэтому может теперь ее не отдавать. Особенно раздражал Кожича в такие минуты мохнатый щенок Манькова, маленький Кайт, вертевшийся под ногами. Кожич уверял, что паршивый щенок этот мешает ему думать, и, проиграв, сваливал на него всю вину. Он, вероятно, после какого-нибудь досадного проигрыша убил бы щенка пинком ноги, но Маньков всякий раз выручал Кайта – подымал его на своей широкой ладони и прятал подальше, за койкой.

Вообще Кожич не разделял любви Манькова к разным зверюшкам и презрительно фыркал, когда Маньков показывал ему какого-нибудь подобранного на дороге вороненка с перебитым крылом, или ежа, принесенного из лесу в голубой пилотке, или свою ручную белку. Эта белка до того привыкла к Манькову, что вскакивала на него с разбегу, как на ствол дерева, и сидела у него на плече, когда он гулял. Впрочем, с вороненком, ежом или белкой Кожич еще готов был примириться – на них действительно любопытно иногда посмотреть, – но что нашел Маньков в своем мохнатом щенке, он никак понять не мог.

Конечно, Кожичу приходилось волей-неволей мириться и с постоянным присутствием этого щенка, потому что сам он никогда не расставался с Маньковым, а Маньков никогда не расставался со щенком. Они спали втроем в одной землянке – Кожич, Маньков и Кайт. Они втроем купались в реке возле аэродрома – Кожич, Маньков и Кайт. Они даже обедали втроем: Кожич и Маньков – за столом, а Кайт – под столом. Однако Кожич никогда не снисходил до того, чтобы погладить Кайта, а Кайт никогда не осмеливался подпрыгнуть и лизнуть Кожича в лицо.

И уж совсем блажью считал Кожич выдумку Манькова брать Кайта с собой в полеты.

В то лето немцы наступали, и полк работал по уничтожению коммуникаций в немецком тылу. Это была изнурительная работа – по пять-шесть вылетов в сутки, ночью и днем, с кратчайшими промежутками для сна и еды. Прилетишь, вылезешь из кабины, ляжешь в комбинезоне на спину в траву возле самолета и жадно дышишь, пока оружейники подвешивают новые бомбы. Не успеешь отдышаться, перекурить – и снова полет на запад, навстречу огромной багровой вечерней заре, туда, где все небо рябое от мгновенных звездочек зенитных разрывов.

Командир эскадрильи был убит, и Кожич стал командиром эскадрильи. Теперь он водил свою эскадрилью в бой и первый взлетал с аэродрома, и все остальные самолеты пристраивались к нему в воздухе. Он придавал большое значение строю, он знал, что правильный строй делает их менее уязвимыми для «Мессершмиттов», потому что в строю они защищают друг друга своими пулеметами, он знал, что, когда они идут в строю, зениткам труднее к ним пристреляться, потому что строй рассчитан на то, чтобы ни один самолет не прошел по пути другого. И главное – он знал, что при железном строе от него одного зависит, прорвутся ли они вместе к той дороге, к тому мосту, к тому городу, который они должны поразить.

Маньков лучше всех держал строй и шел в воздухе всегда справа от Кожича. Сколько бы раз ни поворачивал Кожич голову вправо, он всегда на одном и том же расстоянии от себя видел самолет Манькова. Казалось, будто самолет Манькова висит в воздухе неподвижно. Это неизменное постоянство самолета Манькова всегда наполняло Кожича радостью и уверенностью. Когда путь им преграждал заградительный зенитный огонь такой густоты, что, казалось, и воробью не пролететь через него, Кожич смотрел на самолет Манькова и, видя его на прежнем месте, вел эскадрилью вперед, зная, что никто не свернет и не отстанет.

В тот душный день тучи шли низко, свисая почти до земли. Кругом горели подожженные немецкой артиллерией леса, и грязный дым висел во влажном воздухе, скрывая все дали. Лучше не было дня для удара по железнодорожному мосту, расположенному в трехстах километрах позади немецких армий. Это был самый главный мост для всего фронта немцев – от него расходились все пути, питавшие их наступление. Ни в одном месте не было у них столько зенитных батарей, как у этого моста, – два полка истребительной авиации охраняли его. Удар по мосту можно было нанести только внезапно. Это был самый подходящий день для того, чтобы подкрасться к нему исподтишка.

Эскадрилья поднялась и сразу потонула в тумане. Идти можно было только по приборам, как ночью. Клубы облачного пара, исполинские, медленно движущиеся, полные причудливых пропастей, обступали самолет Кожича со всех сторон. Кожич часто не видел не только своей эскадрильи, но даже крыльев своего самолета. В такие минуты им овладевало беспокойство, и он напряженно ждал, когда туман хоть немного отступит. Он хотел видеть всех своих товарищей, он отвечал за каждого из них. И прежде всего из мути выплывал самолет Манькова, который висел справа от него, всегда на том же месте. И радость охватывала Кожича, и, успокоенный, следил он, как в слегка редющей мгле постепенно прояснились очертания всех остальных самолетов, идущих за ним журавлиным клином.

Так прошли они большую часть пути. Уже до цели оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут полета, когда Кожич стал замечать, что просторные пропасти между клубящимися громадами облаков наполняются перламутровым светом. Это был свет солнечных лучей, проникших сквозь тучи, и Кожич понял, что слой туч над землею редет.

Вдруг тучи кончились, оборвались, и все шесть самолетов эскадрильи неожиданно для себя выскочили на ясный простор голубого неба.

Кожич не ждал такого подвоха и, по правде сказать, в первое мгновение даже растерялся. Пройти почти весь длинный путь скрытно – и под самый конец, когда

до моста осталось десять минут полета, оказаться на виду у врага. Но не прятаться же снова в тучу, не возвращаться же, ничего не сделав! И Кожич повел свою эскадрилью вперед.

С земли их заметили почти сразу. Весь этот район немцы хорошо охраняли и всюду расставили посты наблюдения. В прозрачном воздухе ясного летнего дня советские самолеты были отчетливо видны. Сразу заработали зенитные батареи – и справа и слева.

Гроздья разрывов повисали в воздухе, пачкая небо. Эскадрилья Кожича шла все вперед и вперед. Когда разрывы начинали ложиться слишком близко, Кожич неожиданным рывком швырял свою эскадрилью то в один бок, то в другой, сбивая немецких зенитчиков с прицела и мешая им попасть. Он хорошо владел искусством противозенитного маневра и потому не слишком опасался зениток. «Авось не попадут, – думал он. – Лишь бы подойти к мосту, прежде чем подымутся «Мессершмитты».

Он подумал о «Мессершмиттах» и увидел их. Они шли парами, внезапно возникая в воздухе и стремительно увеличиваясь, и было их сначала две пары, потом четыре, потом шесть. Перед сомкнутым строем советских бомбардировщиков они немного замешкались. Но мост был уже близко, медлить они больше не могли и пошли в атаку – снизу, сзади и сверху.

Начался бой, и бой этот происходил так быстро, что Кожич не успевал следить за ним. Неяркие при солнечном блеске струи пуль скрещивались, потухали и вспыхивали вновь. Его стрелок-радист и его штурман вели огонь из своих пулеметов, и все штурманы и стрелки-радисты эскадрильи вели огонь. «Мессершмитты» тоже вели огонь, и уже дважды слышал он щелканье пуль по плоскостям своего самолета. Но он думал только о том, что надо дойти до моста, и уже видел впереди изогнутую ленту реки, сверкавшую на солнце, как никель.

Вот уже один «Мессершмитт», крутясь, переворачиваясь боком через крылья, упал и исчез далеко внизу на темном фоне леса, а Кожич все еще вел свою эскадрилью, построенную в небе подковой.

Каждые две секунды он взглядывал на самолеты – вправо и влево. И всякий раз прежде всего вправо – на самолет Манькова.

И вдруг он увидел, как черный дым вырвался из самолета Манькова. Они уже дошли до реки и шли над рекой, отстреливаясь от истребителей. Дым был так густ, что временами окутывал весь самолет Манькова, как плащом, и скрывал его из виду. Длинным грязным хвостом тянулся он за ним в пронизанном солнцем воздухе.

Сейчас он упадет. Но нет, он не падает. Он по-прежнему идет вперед, этот упорный самолет, никогда не меняющий места в строю, и даже ведет огонь сквозь дым, окутывающий его. У Кожича сердце сжимается от муки. Вперед, вперед! Вот уже отчетливо виден железнодорожный мост через реку, тоненький, как струнка. Надо снижаться, почти немисливо попасть в мост с такой высоты. Вся эскадрилья идет на снижение, волоча полосу дыма за собой. В пылающем самолете Маньков летит справа от Кожича, не желая покинуть своего места в строю.

Кожич уже ложился на боевой курс, когда самолет Манькова выпал наконец из строя. Пылающий в воздухе костер устремился вниз. Но и пылая, и падая, он продолжал идти к мосту. Воля Манькова управляла им до последнего мгновения. Он разбился о мост, и бомбы взорвались, и, когда огромный клуб дыма отполз в сторону, Кожич увидел, что моста больше нет.

4

А как же Кайт? Находился на самолете Манькова и погиб вместе со своим хозяином во время его последнего подвига?

Так и решил Кожич, когда вернулся на аэродром и не нашел Кайта у старта. Но техники сказали ему, что Маньков на этот раз не взял Кайта с собою и Кайт ждал его, пока самолеты не вернулись на аэродром. Когда же он увидел, что на посадку идут не шесть, а пять самолетов и самолета Манькова нет между ними, он вдруг повернулся и побежал, побежал прочь, в дальний угол аэродрома, где рос не выкорчеванный еще ольшаник, и скрылся в кустах.

Четыре дня Кайт не появлялся, и никто его не видел. На пятые сутки ночью Кожич, лежа в землянке, услышал протяжный вой. Он накинул на себя реглан и вышел из землянки.

В темноте что-то мягкое, теплое прикоснулось к его ногам.

- Кайт!

Кожич нагнулся и погладил Кайта. Кайт подпрыгнул и лизнул его в лицо, как лизал прежде Манькова.

С тех пор они неразлучны.